SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Петр Исаевич Вейнберг
  -
  - От автора
  - Глава I. Детство и юность Гейне
  - Глава II. Университет и первые литературные опыты
  - Глава III. Жизнь в Берлине. Докторский диплом
  - Глава IV. Литературная деятельность до отъезда в Париж
  - Глава V. В Париже
  - Глава VI. Последние годы
  - Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Петр Исаевич Вейнберг
Генрих Гейне. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк П. И. Вейнберга с портретом Гейне, гравированным в Лейпциге Геданом

От автора

Рамки настоящего издания обусловили соединение в нескольких листах того, что могло бы дать богатый материал на большой том. Но я смею думать, что ничто существенное не упущено мною из виду и что если по необходимости отсутствуют многие подробности, частности, то сохранено все находящееся в тесной *связи с* главною целью нашего очерка – показать по возможности житейскую и литературную личность знаменитого поэта.

Главным источником служили мне собственные сочинения и письма Гейне; затем я пользовался известною биографией *Штродтмана* «H. Heine's Leben und Werke», более новым сочинением *Прёльса* «Henrich Heine» и рассказами брата поэта, Максимилиана Гейне, его друзей – Лаубе, Мейснера и других, его «Мушки» Камиллы Сельден, лорда Гоутона и других.

П. В.

Глава I. Детство и юность Гейне

Родители Гейне. – Роль матери в воспитании «Гарри». – Симон Гельдерн и его влияние на фантазию будущего поэта. – Первое чтение: «Дон Кихот» и «Путешествия Гулливера». – Дюссельдорфский лицей и лекции философии. – Религиозный индифферентизм в семье Гейне. – Раннее начало французского влияния. – Скептическое отношение к школе. – Первые вспышки любви. – Вероника и Зефхен.

Генрих Гейне в шутку, без которой он так редко мог обойтись, называл себя первым человеком девятнадцатого столетия, уверяя, что он родился первого января 1801 года. На самом же деле будущий великий поэт Германии родился 13 декабря 1799 года в городе Дюссельдорфе на Рейне. Гейне по происхождению еврей, и предки его не могли похвалиться особенною знатностью своего родословного древа. По матери наш поэт был «знатнее»: она принадлежала к фамилии Гельдерн, пользовавшейся большим почетом при дворе и в обществе, но за Самсона Гейне вышла уже бедною девушкой после разорения ее отца, и муж ее завел в Дюссельдорфе торговлю английскими мануфактурными товарами, однако шедшую плохо.

Биографы Генриха Гейне в истории его развития приписывают видную роль влиянию его матери; внимательно всматриваясь в обстоятельства детства и юношества нашего поэта, мы не можем, однако, вполне согласиться с этим мнением. Правда Бетти Гейне (имя матери поэта) была женщина очень образованная; правда она была жаркою последовательницею Ж.-Ж. Руссо и ее религиозные убеждения были построены на почве строгого деизма; правда, наконец, что все заботы о воспитании детей лежали исключительно на ней, и она была вся поглощена этими заботами. Неоспоримо все это, но другие, гораздо более веские факты представляют дело в совсем ином свете. Уже одно то обстоятельство, что эта женщина как истая дочь рационалистического XVIII века ставила на первый план разум и наиболее тревожилась мыслью о том, что ее Генрих, пожалуй, сделается когда-нибудь поэтом, – уже одно это обстоятельство, думаем, достаточно говорит в пользу того, что своим собственно поэтическим развитием Гейне обязан отнюдь не матери.

«В нас самих заключаются звезды нашего счастья,» – замечает он в своих «Мемуарах», сообщая тут же, что мать «боялась поэзии, вырывала из рук сына всякий роман, какой находила в них; запрещала ему ходить в театр, отстраняла от всякого участия в народных играх, наблюдала за его знакомствами, бранила

прислугу, которая в его присутствии рассказывала истории о привидениях – делала, одним словом, все возможное, чтобы отдалять от него суеверие и поэзию».

Не от нее, по его собственному заявлению, унаследовал он «наклонность к фантастическому и романтическому», то есть к тому, что вошло самым существенным элементом в первоначальное творчество поэта; а если к вышеприведенному прибавим еще одно заявление сына, что «на господство над действительным направлением его мысли она никогда не покушалась и относительно него была олицетворением деликатности и любви» – то, кажется, имеем достаточное основание утверждать, что собственно на поэтическое развитие Гейне мать не только не оказала благоприятного влияния, но даже противодействовала ему.

С последним заявлением об отсутствии «покушения на господство над действительным направлением мысли» сына находятся, однако, в противоречии те сведения о системе воспитания Генриха, которые находим в его «Мемуарах» и которые являются для нас доказательством, что житейский путь, по которому пошел наш поэт и с которого он не сходил до конца своей жизни, был проложен ему отнюдь не матерью. Всю свою систему воспитания она сообразовала с теми «широкими и блистательными планами», которые строила для своего «Гарри», усматривая в его умственных способностях великолепные задатки для осуществления этих планов. То она, ослепленная блеском первой французской империи, подчинившей себе в эту пору Германию, и видя, например, как одна из ее подруг, дочь железного фабриканта, сделалась женой герцога и известного генерала, – начинает тоже грезить для своего Генриха «о самых золотых эполетах или о самых почетных должностях при дворе Наполеона» и, сообразно этому, заставляет его учиться разным военным наукам. То, с падением империи, она отказывается от этих стремлений и, будучи свидетельницей сказочного возвышения дома Ротшильдов, решает, что и сын ее может и должен сделаться денежной державой, вследствие чего – как увидим ниже – знакомит его с вексельным делом, с торговлею, через посредство учителей набивает его голову всевозможными предметами, имеющими отношение к сухопутной и морской торговле, к промышленности и тому подобному. То, когда вокруг нее начинают лопаться одно торговое предприятие за другим, она начинает придумывать для сына новую карьеру и, заметив общее процветание юридического, собственно адвокатского, сословия, решает, что Генриху непременно надо сделаться адвокатом – и отправляет его в университет слушать лекции по юридическому

факультету. Мало того: мы имеем даже указание, что она, сперва энергично отклонившая предложение одного из учителей Генриха – окрестить этого последнего в католическую веру и посвятить его духовному званию, – впоследствии раскаивалась, что не сделала этого… И только «после стольких фиаско, – говорит сын, беспрекословно повиновавшийся ее распоряжениям, – она отказалась от верховного руководительства моею жизнью», – и прибавляет, что «именно она была виновата в бесплодности большинства моих попыток и стремлений на общественном поприще, так как ни одна из представлявшихся мне должностей не соответствовала моей натуре». Это не мешало, однако, поэту всю жизнь питать к матери глубочайшую, до благоговения доходившую любовь, которую он выразил и в нескольких из задушевнейших своих стихотворений. Да она и заслуживала этой любви, потому что только и жила мыслью и заботами о своих детях, и если Генрих Гейне как поэт нисколько не обязан ее влиянию, то в его умственном и нравственном развитии вообще она все-таки не осталась без довольно видной роли.

Очень любил Гейне и своего отца; но то, что нам известно об этом человеке по рассказам самого сына, представляет нам его – несмотря на нежность, которою проникнуты эти рассказы – в свете далеко не привлекательном, а, по крайней мере, в таком, при котором уже ни о малейшем нравственно благотворном, а уж подавно умственном образовательном влиянии не может быть и речи. Это человек очень добрый, помогающий бедным, насколько позволяют его средства, общительный, но весьма пустой, суетный, в душе которого, по очень меткому и образному выражению сына, «было вечное ярмарочное увеселение». В ранней молодости провиантмейстер или комиссар в свите принца Кумберландского (впоследствии короля Ганноверского), он приобретает в этой службе безграничную любовь к солдатскому сословию, «или, вернее, к игре в солдаты, – склонность к той веселой праздной жизни, в которой золотая мишура и яркие тряпки скрывают внутреннюю пустоту и упоенное тщеславие может выдавать себя за мужество»; парады, ловко скроенный мундир, звяканье шпор – вот что составляет предмет восхищения отца нашего поэта, и эти наклонности он продолжает сохранять и тогда, когда мы видим его уже скромным дюссельдорфским купцом, торгующим мануфактурными товарами. Переезжая в Дюссельдорф после женитьбы, он привозит туда с собой двенадцать лошадей, свиту охотничьих собак, какого-то негодяя – шталмейстера – и расстается со всем этим только по настояниям своей жены, женщины благоразумной и экономной. Умственные способности и развитие этого человека тоже стояли далеко не на высокой

ступени, и все, чему учил щеголь купец сына, заключалось в благотворительности; да и благотворительность эта имела более внешний характер, проявляясь в форме ежедневной раздачи пятаков бедным…

Но между ближайшими родственниками будущего поэта нашелся один, в общении с которым мальчик Гарри находил почву для разработки своих чисто поэтических задатков и своих склонностей к умственной работе вообще. Это был его дядя по матери, Симон Гельдерн, большой чудак во внешних проявлениях, с наружностью, вызывавшею даже непочтительный смех, но с прекраснейшим и благороднейшим сердцем. Бывший воспитанник коллегии иезуитов, где он окончил курс так называемых гуманитарных наук, страстный библиоман, плохой автор политических статей, живо интересующийся всеми современными вопросами, этот человек старался сообщать племяннику свои знания и прививать свои вкусы, дарил ему прекрасные книги, отдавал в его распоряжение свою библиотеку, богатую классическими сочинениями и важными современными брошюрами, и всем этим, как прямо заявлял впоследствии Гейне, оказывал большое влияние на его развитие. Симон Гельдерн жил в старом доме, доставшемся ему от отца; чердак этого дома представлял собою склад всевозможного домашнего хлама: разных глобусов, колб и реторт, свидетельствовавших об астрологических и алхимических занятиях прежнего домовладельца, книг медицинского, философского и каббалистического содержания. Здесь проводил целые часы будущий романтик, в этой обстановке все «представлялось ему облитым фантастическими лучами», и в далекие, неведомые пространства устремлялось его богатое воображение, когда в этой таинственной пыли находил он такие вещи, как, например, записная книжка одного из его предков по матери – весьма загадочного человека, странствовавшего по всему свету, преимущественно по Востоку, бывшего и набожным пилигримом, и предводителем бедуинского племени, и чем-то вроде чернокнижника. Гейне, характеризуя его в «Мемуарах» как «полуфантазера, занимавшегося пропагандою космополитических, осчастливливающих мир утопий, и полуавантюриста, который в сознании своей индивидуальной силы разрушает или переступает гнилые пределы гнилого общества», – свидетельствует о сильном влиянии, которое производило на его детское впечатлительное воображение и то, что он мог понять в этой уцелевшей записной книжке, и сохранившиеся в семье рассказы и традиции об этой таинственной личности.

«Я так глубоко, – говорит он, – погружался в его странствия и приключения, моя юношеская фантазия до такой степени занималась им и ночью, что я совершенно сжился с ним, и по временам, среди бела дня, охватывало меня неприятное, тревожное чувство, и мне казалось, будто я сам – мой покойный дед, и моя жизнь есть только продолжение жизни его, давно умершего!.. Ночью то же самое отражалось ретроспективно в моих сновидениях. Жизнь моя походила в ту пору на большую газету, где в верхней части страницы помещалось настоящее, все события и происшествия дня, между тем как в нижней фантастически, непрерывными ночными грезами, точно ряд фельетонов-романов, давало себя знать поэтическое прошедшее… Не одну свою идиосинкразию, не одну фатальную симпатию и антипатию, которая, быть может, находится в противоречии с моею натурой, даже многие поступки мои, противоречащие моему образу мыслей, – я объясняю себе как отражение того времени грез, когда я был моим собственным дедом. Оно обусловило мою последующую деятельность – как писателя и как человека. Когда я делаю ошибки, источник которых мне представляется непонятным, то охотно ставлю их на счет моего восточного двойника…»

Записная книжка этого родственника, как выше замечено, не могла давать мальчику значительный материал собственно для чтения уже потому, что большая часть ее была написана арабскими, сирийскими и коптскими буквами. Зато не одним сокровищем обогатился его ум в вышеупомянутой библиотеке дяди – судя по тому, что первыми книгами, которые он прочел здесь, после вступления своего в пору разумного детства, были «Дон Кихот» и «Путешествия Гулливера». Неподражаемо поэтически описал он сам в «Путевых картинах» впечатление, производившееся на него бессмертным творением Сервантеса. Общение с «Дон Кихотом» не ограничилось у Гейне детским возрастом; книгу эту неоднократно читал он в различные возрасты своей жизни, и на всех ее путях «…преследовали меня, – писал он гораздо позже, – фигуры худощавого рыцаря и его толстого оруженосца, в особенности когда я достигал рокового перепутья… Может быть, я тоже не кто иной, как Дон Кихот». Что касается «Путешествий Гулливера», то чтению их маленьким Гейне, конечно, нельзя не придать большого значения в жизни того, кому тоже суждено было сделаться одним из гениальнейших сатириков. В творении Свифта двенадцатилетнего Генриха главным образом занимала судьба великана, присутствие которого внушало столько страха и опасений карликам-лилипутам, и, если верить Гейне, в этой судьбе он усматривал

сходство с отношениями Европы и Наполеона I, – отношениями, разыгрывавшимися на глазах нашего поэта в пору его ранней молодости. Говорим – «если верить», потому что вряд ли в этом возрасте он способен был уже проводить такие аналогии.

Не под такими только влияниями и впечатлениями рос будущий автор «Путевых картин» и «Альманзора».

Между тем как, с одной стороны, его романтическая по своей натуре, можно даже сказать, восточная фантазия и чисто поэтическое чувство находили себе богатую пищу как в том, о чем мы только что рассказали, так и в его любовных увлечениях уже в самые ранние годы – с другой стороны, уже теперь развивались в нем семена того скептицизма, внутреннего разлада – тех, одним словом, элементов «мировой скорби», которые впоследствии наложили такую яркую печать на поэтическое творчество Гейне. Как ни странно может казаться это, но в его голову уже почти с детства начинают западать философские идеи, и притом такого свойства, которыми ум наводится именно на путь пытливого мышления, а следовательно и скептического отношения ко многим вопросам, освященным вековыми традициями. В Дюссельдорфском лицее, где Гейне получил свое первое образование, читались для старших классов лекции философии, и профессор Шалмейер, хотя и почтенный католический священник, излагал, однако, своим юным слушателям все системы самых свободных греческих мыслителей. Гейне закончил курс в этом заведении уже пятнадцати лет; вот, стало быть, в таком возрасте начал он знакомиться с этими учениями.

«Это обстоятельство, – говорит он, – конечно, очень важно для меня; еще мальчиком я должен был привыкать к философским лекциям… Таким образом, здесь (т. е. слушая лекции Шалмейера) я рано увидел, как, при отсутствии лицемерия, религия и сомнение шли спокойно рядом, и через это во мне родилось не только неверие, но и самое толерантное равнодушие».

Не менее важности придает он и тому обстоятельству, что родился в конце скептического восемнадцатого столетия и в том городе, где в пору его детства господствовали не только французы, то есть Наполеон, но и французский дух, – и в одном месте своих сочинений опять называет себя «отчасти сыном французской философии…» До какой степени эти лекции влияли на ум мальчика Гейне, видно из одного весьма интересного факта, относящегося именно к этой поре. В лицее Генрих близко сошелся с молодым сыном одного хлебного торговца, который выгнал юношу из дома за его «вольнодумство», бывшее результатом чтения разных философских трактатов. Наш поэт

украдкой виделся с ним, и они вместе читали философские сочинения, даже Спинозу, и пускались в оживленные прения по вопросам, на которые наталкивали их эти страницы. Само собой разумеется, что этого рода вещи действовали на мальчика, даже почти юношу, больше, если можно так выразиться, инстинктивно, что никакое отчетливое, вполне сознательное представление по таким вопросам в этой молодой голове составиться не могло, – но семена, во всяком случае, ложились на такую благодатную почву, что рано или поздно должны были принести свои плоды.

Этому «насаждению» философски-скептических «семян» в очень значительной степени благоприятствовал тот религиозный индифферентизм, который находил себе место в доме родителей нашего поэта. Правда, внешние еврейские обряды исполнялись здесь в точности; но это происходило от той же самой причины, которая заставляла Генриха Гейне до его перехода в христианство – да в душе и после того – чтить эту внешнюю сторону, не разрывать связи с нею: от семейного, племенного чувства, от известного рода благочестия относительно вековых традиций, которое усиливалось еще и несчастною судьбою его единоверцев. Но дело ограничивалось именно только внешнею стороною. От матери поэта, последовательницы Руссо, строгой деистки, нельзя было и ожидать внутренней преданности еврейству как одной из положительных религий; что касается отца, то в мемуарах поэта находим одну очень характеристическую на этот счет подробность. Самсону Гейне передали, что его Гарри насмехается над религией, что он отрицает Бога и тому подобное. По этому случаю старик прочел сыну длинную проповедь, в которой между прочим сказал: «Твоя мать посылает тебя учиться философии у ректора Шалмейера. Это ее дело. Я с моей стороны не люблю философии, потому что в ней все – суеверие; а я купец, и мне нужна моя голова для ведения моих дел. Ты можешь быть философом сколько тебе угодно, но прошу тебя – не говори публично, что ты думаешь, потому что мои дела пошли бы дурно, если бы мои клиенты узнали, что я имею сына, не верующего в Бога; особенно евреи перестали бы покупать у меня бархат, а они – честные люди и платят аккуратно и имеют право и основание держаться религии…» Немудрено, что окруженный такими воззрениями, а в значительной степени, конечно, и благодаря собственной натуре, направлению и свойству собственного ума, Гейне-мальчик, соблюдая внешние обряды еврейской религии, относился, однако, к ним и ко всем талмудическим утонченностям скептически, даже насмешливо…

Рано также проснулись в Гейне идеи политического свойства, начало слагаться его политическое миросозерцание – и это

благодаря тем обстоятельствам, среди которых приходилось расти мальчику и которые, если отразились на последующей литературной деятельности поэта только отчасти, то, во всяком случае, дали ей обильный материал. Период детства и первых годов юношества Гейне был периодом полнейшего позора и политического падения Германии. Вместе с большею частью Европы и она, в лице «Рейнского союза», бессильно отдалась железной власти Наполеона; маленькое герцогство Юлихбергское, где главным городом был Дюссельдорф, тоже не избежало этой участи. В двух формах являлось господство французов соотечественникам и согражданам Гейне: с одной стороны, тяжело ложились на них, как и на все народы, склонившиеся под властью Наполеона, подати, налоги, деспотическое управление и тому подобное, с другой – они на себе испытывали благодетельные проявления того гражданского равенства, которым Наполеон вознаграждал подчинявшиеся ему страны за потерю их национальной свободы и независимости – уничтожение крепостного права, отмену запрещения дворянам вступать в брак с лицами крестьянского и мещанского сословия, реформы судопроизводства по французскому образцу и тому подобное. Для единоверцев Гейне наполеоновское господство имело еще и то благотворное значение, что им был сделан – благодаря установлению равноправности для евреев с другими национальностями относительно рекрутчины – по крайней мере, первый шаг на пути освобождения их от тысячелетнего рабства, которое в эту именно пору было сильнее, чем когда-либо.

В такой политической атмосфере рос маленький Гейне, не видя при этом, с другой стороны, как противовес французскому влиянию, ничего похожего на истинный патриотизм. Да этому чувству и не могло быть места в немецком населении, как и повсюду в Германии, при воспоминании о том, чем была в последнее время «священная римская империя», этот политический труп с чисто формальным, мишурным значением.

Еще меньше смысла мог иметь немецкий патриотизм в населении еврейском, испытывавшем на себе страшный гнет со стороны Германии…

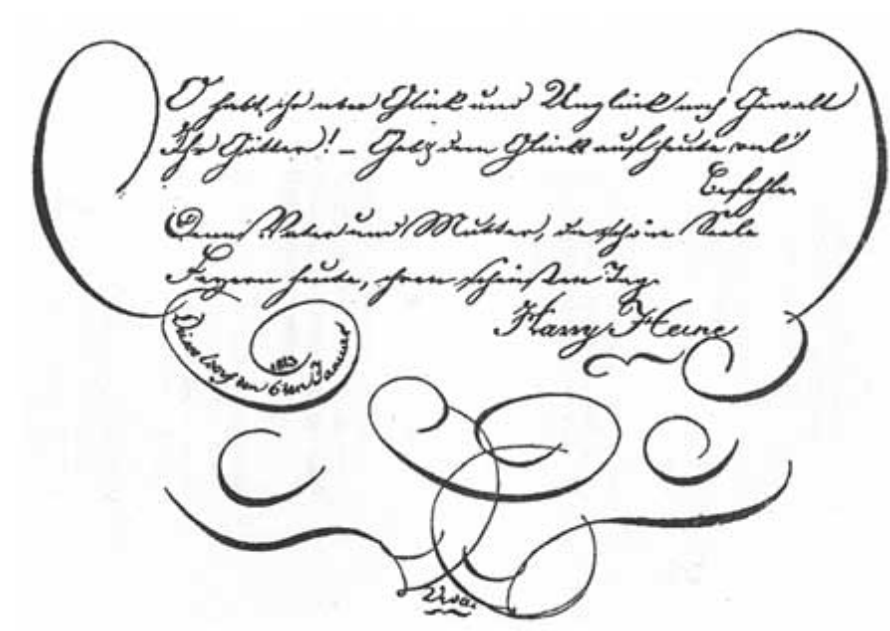
Французское влияние, по справедливому замечанию лучшего биографа Гейне, Штродтмана, необходимо принимать во внимание для справедливой оценки развития нашего поэта и позднейшей писательской деятельности его; несомненно, что раннее и тесное общение с подвижными и смелыми элементами французской национальности сообщили ему ту подвижную смелость и уверенность, которою запечатлена большая часть произведений нашего поэта; как несомненно, с другой стороны,

что эти же влияния поселили в душе ребенка первые семена той изменчивости характера, которая впоследствии часто выставляла в двусмысленном свете серьезность его убеждений.

Мы отметили все положительные и отрицательные влияния, действовавшие на Гейне в его детстве. К отрицательным надо отнести и то, что дала ему школа, то есть Дюссельдорфский лицей. Дала она ему очень немного, если не считать вышеупомянутых лекций Шалмейера по истории философии, – хотя им, принимая в соображение крайне молодой возраст ученика, мы не можем придавать положительного значения. С необыкновенно метким, чисто гейневским остроумием изобразил нам сам поэт свое первоначальное обучение; в брызжущей поразительным юмором панораме проходят здесь перед нами эти римские короли, хронология, имена существительные на *im,* неправильные глаголы, «отличающиеся от правильных тем, что за них больше секут», греческий язык, это «изобретение дьявола», доставлявшее поэту такие муки, «которые известны только Богу», еврейский язык, немецкая грамматика – «тоже не детская игрушка, потому что бедным немцам, достаточно уже мучимым разными военными постоями, повинностями, личными налогами и всевозможными податями, приходится еще возиться с учебником Аделунга и хлопотать о винительном и дательном падежах», география, которой очень трудно было учиться, потому что «в то время французы перекраивали все границы», мифология, не стоившая юному Гарри большого труда, ибо он «ужасно любил этих голых богов, которые так весело управляли вселенною», – все то, одним словом, чем набивали голову этого необычайно развитого и необычайно впечатлительного мальчика, наряду с сотнями других детских голов. Но между тем как большая часть последних покорно усвоила всю эту премудрость, с маленьким Гарри нелегко было справиться; слова его: «Если я сделался знаменитым писателем, так это стоило порядочного труда моей бедной матери!» – относятся одинаково и к ней, и к остальным руководителям будущего поэта, и намекают на чувство независимости, доходившее до строптивости, гордое сознание собственного достоинства, насмешливое отношение к окружающей посредственности, уже в ту раннюю пору бывшие в числе отличительных свойств его натуры. Проявлялись в нем в эти годы и многие другие врожденные особенности его, из которых иные впоследствии получили большое развитие и которыми он роднится в очень значительной степени с двумя другими великими поэтами равного с ним полета: Байроном и нашим Лермонтовым. Это – отсутствие общительности и уход в себя даже от ближайших друзей, скрывание истинных чувств

своего сердца, при гуманном добродушии и чрезвычайной мягкости нечто, заставляющее его почти стыдиться врожденной чувствительности, старание с упрямою гордостью скрывать эту чувствительность под резкими, часто даже отталкивающими формами, молчаливость и так далее.

Очень естественно, что в душе с такими задатками – и притом душе истинного, великого поэта – очень рано должно было развиться и чувство любви, вернее влюбчивости, как это бывало тоже со многими выдающимися поэтами. И здесь мы коснулись того чувства, которое, по количественности своих проявлений (говорю «количественности», потому что по качеству своему эти проявления никогда не были особенно глубоки и долговременны) играло в жизни Гейне весьма видную роль и нашло себе в нем величайшего и разностороннейшего истолкователя, какого только можно найти в истории эротической поэзии. Началось это, как только что сказано, очень рано. В «Путевых картинах» поэт упоминает о какой-то маленькой девочке Веронике, которую он любил, как видно, еще в совсем детские годы, и этой маленькой, полуреальной и полуфантастической Веронике мы обязаны несколькими удивительно поэтическими строками, которые имеют притом и историко-литературное значение, свидетельствуя о явном присутствии романтического элемента в поэзии Гейне в ту пору.



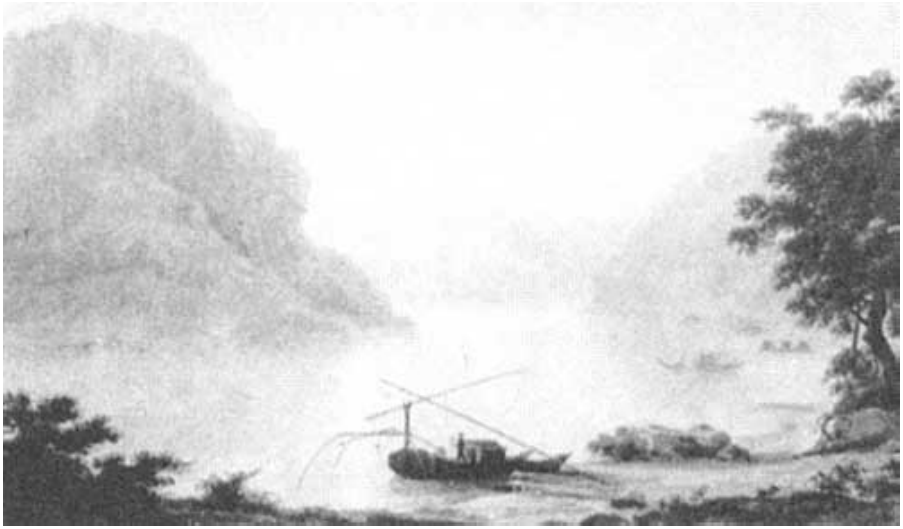
Факсимиле отроческого стихотворения 1813 года.

Еще сильнее веет «романтизмом» вторая любовь поэта, уже пятнадцатилетнего – по крайней мере в том виде, в каком он изобразил ее впоследствии в своих «Мемуарах». Предмет этой любви – дочь палача Йозефа, «Красная Зефхен», как звали ее, потому что волосы ее были «красные, как кровь, красные», удивительная, судя по описанию Гейне, красавица, у которой «каждое движение обнаруживало ритмы ее тела, даже музыку души». Зефхен знала много народных песен и, по заявлению Гейне, поселила в нем, может быть, склонность к этому роду поэзии, – то есть к тому роду, в котором он с первых же шагов своих на литературном поприще заявил себя таким великим мастером. Да и вообще эта девушка, как свидетельствует он же, имела «величайшее влияние» на пробуждение его поэтического дарования, «вследствие чего, – говорит Гейне, – мои первые стихотворения, „Traumbilder“, написанные вскоре после того, отличаются мрачным и жестоким колоритом, подобно обстоятельствам, накидывавшим в ту пору свои багровые тени на мою молодую жизнь и мыслительную деятельность». Мы охотно верим этому, хотя, конечно, далеко не одна Зефхен обусловила мрачно-романтический характер первых стихотворений Гейне, о чем, впрочем, будет еще у нас речь ниже, – точно так же, как, с другой стороны, признаем сделанным только для красного словца заявление, что наш поэт целовал эту девушку «не только по нежной склонности, но также вследствие насмешливого отношения к старому обществу и всем его темным предрассудкам»; достаточною натяжкою и искусственностью звучат слова его о том, что эти поцелуи впервые зажгли в нем «пламя тех двух страстей, которым осталась посвященною вся последующая жизнь его: любовь к красивым женщинам и любовь к французской революции». Насчет красивых женщин нисколько не спорим; относительно второго – сомневаемся, ибо, когда речь идет о презрении, с которым относятся к гнусному ремеслу палача и, невольно, всему, пусть и невинному (как Зефхен), что находится с ним в соприкосновении, то при чем тут «старое общество и все его темные предрассудки»?

Мы останавливаемся на этих эпизодах в жизни Гейне, конечно, не ради их, так сказать, житейского значения, ибо такового они отнюдь не имеют, и если впоследствии поэт неоднократно обращался к ним мыслью, то все это было не что иное, как только чисто поэтическое воспоминание. В этом именно, и только в этом, заключается их важность; тем именно и дороги они биографу, что он видит в них первые стимулы для творчества поэта, ибо, как заметил уже Байрон (тоже

полюбивший, когда ему было 8 лет) – «для того, чтобы человек сделался поэтом, нужно, чтобы он или влюбился, или жил в бедствии». То же было и с Гейне: рано начав влюбляться, он очень рано стал и писать стихи, о достоинстве которых, однако, мы судить не можем, так как ни одно из первых произведений не дошло до нас. Но не одна любовь вызывала эти поэтические излияния. Несомненно, что в данном случае сыграли важную роль и местные условия того края, где прошли первые детские годы Гейне, эти цветущие берега Рейна, эта, по его словам, «прелестная страна, полная любви и солнечного света», в которой при этом совмещается много такого, что без труда может действовать на развитие поэтических задатков, особенно в романтическом направлении. Сидя ребенком на берегах этой «голубой реки, в зеркале которой отражаются гористые берега со своими развалинами замков, лесами и древними городами», будущий поэт слушал рассказы какой-то «прекрасной Иоганны», которая знала «самые прелестные сказки». «…И когда она, – читаем мы в „Путевых картинах“, – указывала белою рукою через окошко на горы, где происходило все, о чем она рассказывала, то со мной самим совершалось что-то волшебное: старые рыцари явственно вставали из развалин замков и били друг друга в железную броню; Лорелея снова стояла на вершине горы и пела свою милую, губительную песню; Рейн шумел так умно-успокоительно и в то же время обдавая такою чудною дрожью…»

На Рейне. ***Акватинта Г.-И. Шютца. Начало 19 в.***



Скала Лорелеи на Рейне. ***Гравюра по рисунку Дильмана. 1830.***

Подготовленный, таким образом, внутренне, поставленный в такую обстановку во внешнем отношении, Генрих Гейне оставил лицейскую скамью и вступил в жизнь.

Глава II. Университет и первые литературные опыты

Переезд во Франкфурт. – Будущего поэта отправляют в банкир жую контору и бакалейный склад. – Гейне – глава комиссионерской конторы в Гамбурге. – Ликвидация фирмы. – Любовь 16-летнего юноши к Амалии как первая ступень его поэтического развития. – Кутежи и оргии. – Гейне поступает в Боннский университет. – Отношение к нему профессоров. – Влияние Шлегеля. – Первые песни и начало «Альманзора». – Перемещение в Геттинген. – Саркастическое отношение Гейне к Геттингенскому университету. – Переезд в Берлин.

Вступил он в жизнь очень рано, всего пятнадцатилетним мальчиком, и она сразу представилась ему с очень непривлекательных сторон, дававших обильную пищу тому сатирическому и пессимистическому воззрению на людей, которое глубоко лежало уже в самой натуре его. В 1815 году отец повез своего Гарри во Франкфурт, чтобы там, в центре всех коммерческих предприятий, сделок и комбинаций, посвятить его торговле. Мы видели выше, как мать нашего поэта в разгаре господства Наполеона мечтала для своего Генриха о военной карьере с «самыми золотыми эполетами» и как с падением Наполеона рушились эти планы, заменившись мечтами о превращении неудавшегося будущего полководца в «денежную державу». Но для этого нужна было подготовка, нужно было пройти как теоретический, так и практический курс – эту-то цель и имело отправление будущего поэта во Франкфурт, где, немедленно по прибытии, мы видим его служащим в конторе банкира Риндкопфа, за изучением вексельного дела, и потом – стоящим за прилавком в бакалейном складе одного из крупных торговцев для освоения тайн этого рода операций.

Все это продолжалось, однако, только два месяца – больше поэт не мог выдержать; но и из них далеко не все время посвящал своенравный и строптивый юноша занятиям, на которые обрекала его родительская воля. Очень часто убегал он из своей конторы, из своего бакалейного склада, и целые дни ходил по городу, знакомясь с жизнью Франкфурта, с ее отличительными явлениями и раздражаясь все больше и больше. С одной стороны, жестоко оскорбляя его поэтическое чувство, перед ним раскрывался во всем блеске торгашеский дух франкфуртцев, для которых все, не связанное с денежными интересами и спекуляциями, не имело ровно никакого значения или имело

значение чисто отрицательное; с другой стороны, страдало его социальное и гуманное чувство при виде позорного гнета, под которым жили в то время его единоверцы.

Положение евреев во Франкфурте, естественно, представлялось ему с этих двух точек зрения возмутительным. Если, с одной стороны, он видел все недостатки своих единоверцев, если с этих пор уже стал клеймить в них то, на что впоследствии с особенною силою и язвительностью обрушивалась его сатира (например, торгашество, мелкую изворотливость, нетерпимо-враждебное отношение ко всякой другой религии, всякой другой национальности и т. п.), то, с другой стороны, на каждом шагу видел он доказательства того, что относительно их христианами попирались самые элементарные права – как человеческие, так и юридические. Еврейское происхождение Гейне было для него, как замечает Штродтман, «неиссякаемым источником любви и ненависти, смотря по тому, что имел он в виду: героическое мученичество и двадцативековую историю страшных страданий или ту упорную ограниченность, с которою его соплеменники-израильтяне твердо держались устарелых форм и сопротивлялись успехам цивилизации».

И вот в одно прекрасное утро наш приказчик бакалейного склада «сбежал» – и очутился в доме своих родителей. Но мать далеко еще не отреклась от мысли увидеть своего Гарри «великою денежною державой»; вот почему очень скоро после бегства его из Франкфурта мы находим его в той же торговой сфере – в Гамбурге. Там в эту пору занимал видное место в банкирском мире его дядя, Соломон Гейне, несколько времени спустя – миллионер, один из самых крупных финансовых деятелей. Генриху Гейне приходилось, как увидим, еще несколько раз в жизни иметь контакты – почти исключительно материального свойства – с этим дядей, и притом контакты, часто оканчивавшиеся не совсем приятно для племянника, хотя во многих случаях и не без вины со стороны этого последнего. Но если о значительной части своих родственников наш поэт почти всю свою жизнь не мог говорить без желчи и злобы, если некоторых из них он прямо называл главными виновниками своей гибели, то к Соломону Гейне, несмотря на происходившие между ними разногласия, он всегда относился с симпатией и уважением, даже любовью, за многие его выдающиеся свойства, между которыми поэт находил и родственные с его собственными.

Соломон Гейне, дядя поэта.

Этот-то Соломон Гейне, исполняя желание родителей Генриха – указать ему путь, как сделаться денежной державой, доставил юноше что-то вроде коммерческой агентуры, а в 1818 году – необычайно комическая ирония судьбы – мы видим будущего автора «Путевых картин» во главе собственной комиссионерской конторы под вывеской «Гарри Гейне и К°»! Излишне говорить, что дела «фирмы» шли крайне безобразно, и нисколько не удивительно, что менее чем через год состоялась ликвидация этого предприятия; но зато этим якобы коммерческим занятиям нашего поэта, его постоянному общению с миром торгашей, спекулянтов, банкиров и им подобных мы обязаны несколькими страницами прозы и стихов, принадлежащими к остроумнейшим произведениям сатирического пера Гейне. Семена, брошенные в этом отношении в его ум и душу еще во Франкфурте, здесь находили для своего произрастания почву еще благодатнее – тем более что наблюдатель сделался старше на целых два-три года… Не найдем ли мы после всего этого вполне естественным, что Гейне в эту пору сравнивал себя с теми лебедями, которые в Гамбурге проводят зиму в том же замерзшем бассейне реки Альстера, где они плавают и летом, услаждая своим видом гуляющую

публику, – лебедями, о которых маркёр местного ресторана говорил нашему поэту, что «им среди этого льда очень хорошо, холод для них очень здоров»?

Но не только эта гамбургская атмосфера влияла так неблагоприятно на молодого Генриха. Было еще одно чувство, волновавшее его – только в другом направлении: новая, и притом несчастная, любовь. И если мы только что видели его в обстановке, развивавшей будущего сатирика, то здесь появляются на сцене обстоятельства, дающие дальнейший толчок ему как поэту лирическому. Муза его вновь пробудилась – теперь для того, чтобы, как выражается один биограф, «только воспевать несчастную любовь, только славить девушку, которая пренебрегла его любовью», долго делала бедного Генриха самым жалким человеком, но вместе с тем была первым существом, создавшим из него истинного поэта, вызвала у него чистейшие, нежнейшие, сладостнейшие чувства и мысли, но в то же время и резкие, дикие проявления иронии, насмешки, отчаяния и которую он обессмертил своими песнями. Эта счастливица – ибо разве не счастье стяжать себе бессмертие в песнях такого поэта, как Гейне? – была Амалия Гейне, дочь богатого дяди Соломона. Подробных фактических сведений об этой любви мы не имеем, знаем только, что, по-видимому, Амалия не разделяла страсти своего семнадцатилетнего кузена и что несколько лет спустя она вышла за купца Фридлендера.

Амалия Гейне, двоюродная сестра поэта.

Для нас любовь Гейне к Амалии важна только как крючок, если можно так выразиться, на который влюбленный поэт вешает свои сердечные впечатления, только как могущественный внешний повод к пробуждению его поэтического чутья, его необычайного дара проникать в самые разнообразные и самые сокровенные тайны чувства любви; в стихотворениях Гейне, относящихся к этим годам его жизни, для нас важно не то, *как* любил шестнадцатилетний мальчик, важна не фактическая сторона этих стихов, а то, как умел понимать и выражать любовь уже в такую раннюю пору тот, кому было суждено скоро сделаться одним из величайших певцов любви и мировой скорби. То же самое должны мы сказать и о письмах, писанных в это же время и составляющих драгоценный биографический материал. Они указывают нам на раннее развитие поэтического дарования Гейне и вместе с тем ясно определяют уже теперь существенные оттенки в характере этого дарования. В самом деле, разве будущий Гейне в некоторых главных сторонах его творчества, особенно в первый период, Гейне как романтик и «байронист» не проявляется весьма явственно в следующем, например, отрывке из письма к другу Христиану:

«Хотя я имею самые неоспоримые, самые неопровержимые

доказательства тому, что она решительно не любит меня, – доказательства, которые даже ректор Шалмейер признал бы строго логическими и нимало не поколебался бы поставить в основание своей собственной системы, – но мое бедное любящее сердце все-таки никак не хочет произнести concede (уступаю) и продолжает говорить: „Какое мне дело до твоей логики? У меня своя собственная логика!“ Я снова увидел ее…

Dem Teufel meine Seele,
Dem Henker sei der Leib!
Doch ich allein erwähle
Fur mich das schöne Weib!
(Черту моя душа!
Палачу мое тело!
Но я избираю для себя
Только красавицу-женщину!)

У! Ты вздрогнул, Христиан! Дрожи, дрожи —я тоже дрожу… Сожги мое письмо. Да смилуется Бог над моею грешною душой! Не я написал эти слова; их написал бледный человек, сидящий на моем стуле. Это происходит оттого, что теперь полночь… О Господи! Безумие не грешит… Ты, ты! Не дыши так сильно, я только что построил себе прелестный карточный домик и стою на самом верху его, и держу ее в моих объятиях!.. Я сумасшедший шахматный игрок. Уже при первом ходе я проиграл королеву, но все-таки продолжаю играть и играю из-за королевы. Следует ли мне продолжать?

Когда все потеряно и нет более надежды,
Тогда жизнь становится позором, а смерть – долгом.

Молчи, проклятый, богохульствующий француз, постыдись своего малодушного, хнычущего отчаяния! Тебе, видно, незнакома немецкая любовь? Она стоит смело и прочно на двух вечно незыблемых столбах: благородном мужестве и вере…»

В таком роде и все остальные письма, посвященные любви к Амалии, и мы полагаем, что, принимая в соображение возраст Гейне в ту пору, когда писались такие вещи, отнюдь нельзя придавать им серьезное значение в смысле сочувствия к страданиям поэта, в смысле усматривания, на основании их, решающего влияния этой любви на всю последующую жизнь их автора; точно так же, как нельзя не находить в их тоне очень значительной доли напускного, отражения романтических веяний

и кокетничанья своею скорбью в чисто байроническом духе…

Во всяком случае, этот эпизод в жизни Гейне важен как новая ступень его поэтического развития, ибо именно в Гамбурге и именно в эту пору была написана большая часть тех стихотворений, которые вошли в появившийся довольно скоро после того первый сборник его произведений и между которыми однако – факт, по нашему мнению, далеко не лишенный значения для оценки общего хода поэтического творчества Гейне – были и такие, которые собственно с любовью не имели ничего общего. Блистательнейшим примером в этом отношении может служить знаменитое до сих пор стихотворение «Два гренадера» – отклик того поэтического поклонения Наполеону, которое создалось еще в мальчике Гарри среди уже изложенных нами обстоятельств его детства и еще довольно долго жило в нем, судя по нескольким вдохновенным страницам в «Путевых картинах», – стихотворение, которое, выйдя из-под пера восемнадцатилетнего поэта, уже одно выдавало ему, так сказать, патент на звание будущего великого деятеля в этой области.

Но само собою разумеется, что чем более работала его муза, тем сильнее становилось отвращение в нем к купеческой деятельности, и родители его увидели, что надо им отказаться от мечтаний о своем Гарри как будущем Ротшильде. К этому присоединились «крахи» разных торговых предприятий, и вот в голове матери создается новый план: сделать из своего сына юриста и этим создать для него блестящую дорогу, ибо в это время адвокатское сословие в Германии процветает и благоденствует более других. Обратились за советом к богатому дяде Соломону Гейне, и тот, убедившись в полной неспособности племянника к коммерческим делам, вполне признал рациональность материнского плана, мало того: согласился в течение трех лет давать средства на обучение будущего светила юриспруденции и адвокатуры в университете. А поддержка эта была необходима, потому что дела отца Гейне были в ту пору в очень плачевном состоянии, и мать, находя, что сумма, назначенная Соломоном Гейне, была недостаточна, чтобы обеспечить ее сыну сносное существование в первые студенческие годы, продала еще для этой цели свои бриллианты. Оказать содействие и покровительство развитию собственно поэтического дарования племянника – это и в голову не приходило нашему миллионеру.

Правда, с вопросом о посвящении молодого Генриха юридическому поприщу связывался вопрос о перемене религии, так как евреям в то время была открыта только одна карьера – медицинская; но ни Соломон Гейне, ни родители нашего поэта не

придавали этому условию никакого значения, относились к нему с отличавшим их религиозным индифферентизмом; притом же слушать лекции по всем факультетам дозволялось и евреям, а в три года, пока длился университетский курс, могла совершиться и реформа в законодательстве по этому предмету! Таким образом, вопрос о превращении молодого купца в студента-юриста был решен в утвердительном смысле.

Местом образования будущего доктора юридических наук был избран университет в Бонне – в ту пору один из лучших университетов Германии, где в числе профессоров юридического факультета были такие ученые, как Макельдей, Миттермайер, Велькер, историю литературы читал Август Шлегель, историю искусства – Гундесгаген и так далее. В ноябре 1819 года Генрих Гейне оставил Гамбург, чтобы вступить на новый путь в своей «карьере». Каково было его душевное настроение в эту пору вследствие уже известных нам обстоятельств – видно, между прочим, из одного письма его, написанного уже в 1823 году, где он вспоминал время первого поступления своего в университет:

«Моя внутренняя жизнь была печально-задумчивым погружением в мрачные дебри мира грез, только по временам освещавшиеся фантастическими молниями; моя внешняя жизнь проходила безумно, дико, цинично, отвратительно; одним словом, я делал ее вопиющею противоположностью моей внутренней жизни, – для того, чтобы эта последняя не раздавила меня своею большею тяжестью».

Говоря о своем «безумном, диком» образе жизни, Гейне намекал на те кутежи и оргии, которым он предавался в гамбургский период с целью заглушить страдания, причинявшиеся ему несчастной любовью к Амалии. Так, по крайней мере, казалось ему самому, и с этим объяснением соглашаются те биографы, которые не понимают, что подобный дикий, циничный образ жизни совершенно невозможен, когда человек любит истинно, серьезно и глубоко, и должен быть прежде всего приписан просто чувственным наклонностям человека, каковые у нашего поэта были развиты в очень сильной степени. Как бы то ни было, но пребывание в Гамбурге нельзя не считать заметным фазисом в жизни Гейне, и в этом отношении есть значительная доля правды в словах биографа Прёльса, когда он говорит:

«Беспутная жизнь, в которую кинулся поэт в Гамбурге, не могла не остаться без влияния на его сердечную и умственную жизнь, которой она дала опасное направление. Его скептицизм обрел здесь новую для себя пищу, и склонность к иронии и насмешке получила фривольный характер. Если и правда, как

говорил о нем его друг Руссо, что Гейне по временам выставлял себя худшим, чем он был на самом деле, чтобы из ложного стыда скрывать благородные движения своей души, – то это происходило все-таки чаще оттого, что ему доставляло удовольствие не только суетно любоваться самим собой, но и осмеивать самого себя; чаще же всего, к сожалению, эти темные изображения собственной личности слишком близко согласовались с тем, что было на самом деле».

В таком состоянии переступил он порог университета, принятый туда не без затруднения, ибо на приемном экзамене познания его в таких, например, предметах, как математика, латинский и греческий языки, оказались далеко не удовлетворительными, но зато он был достаточно подготовлен в истории, а главное – близко знаком с лучшими произведениями литературы, как отечественной, так и иностранной, и хорошо владел новыми языками – английским, французским, даже итальянским. Этими предметами он особенно усердно занялся и здесь, как и следовало ожидать; что касается наук юридических, то они тоже, как и следовало ожидать, не могли привлекать его, несмотря на вышеупомянутые громкие имена профессоров, тем более что наряду с этими двумя-тремя стояло много тупых бездарностей. С отвращением вспоминает он и значительно позже о своем пребывании среди этих кладезей юридической премудрости; с отвращением говорит: «Из семи лет, проведенных мною в немецких университетах, три прекрасных, цветущих года потрачены на изучение немецкой казуистики».

Тем сочувственнее относился Гейне к лекциям истории, истории литературы и эстетики. Профессора этих предметов смотрели на него такими же сочувственными глазами, по крайней мере те, для которых в науке важна была только ее живая душа, а отнюдь не мертвая буква, и которые понимали, что именно этой живой душе мог и хотел служить наш молодой студент, часто ленивый, часто на целые дни убегавший из аудитории на веселую пирушку, в кипучую жизнь, часто до дикости оригинальный в своих выходках, но всегда свежий, впечатлительный, необычно умный и высокодаровитый. Между этими профессорами Гейне особенно любил и уважал Августа Шлегеля, одного из вождей романтической школы, большого знатока отечественной и иностранной литературы, даровитого переводчика Шекспира, Кальдерона и других поэтов, с которыми была совсем незнакома немецкая публика. Для молодого Гейне Шлегель представлялся «первым великим человеком», какого он видел после Наполеона. Стоя перед его кафедрой и слушая его лекции, будущий автор «Романтической школы» ощущал «священный трепет,

пробегавший по его душе»; и если впоследствии, по чисто личной мстительности, он обрушился на бывшего учителя с несправедливою резкостью, даже циническим неприличием, то в пору боннского студенчества только что приведенные выражения его относительно знаменитого профессора были совершенно искренни.

Двумя причинами обусловливались чувства Гейне к Шлегелю: во-первых, несомненными достоинствами этого последнего как ученого и, главное, как лектора, умевшего поселять в своих слушателях истинную, живую любовь к предмету, и, во-вторых, тем обстоятельством, что Шлегель был одним из главных представителей немецкого романтизма, а романтический элемент был так силен в нашем поэте, что очень явные следы его, очень яркие отражения сохранились в произведениях Гейне и в то позднейшее время, когда он пошел в области поэзии по совсем иному пути; недаром ведь говорил он уже гораздо позже сам о себе: «Несмотря на мои истребительные походы против романтики, я, однако, всегда оставался сам романтиком…» В развитии этого врожденного романтизма Гейне Шлегель, несомненно, играл очень важную роль, и, быть может, прав известный критик Готшаль, замечая, что без Шлегеля наш поэт едва ли обратился бы с таким сочувствием к другим романтикам, едва ли бы также внес в первые песни свои тот восточный колорит, который придает им такую поэтическую прелесть и который, прибавим, был навеян автору «Лирической интермедии» тем, что именно в эту пору Шлегель страстно занимался изучением Востока и старался привить эту страсть и своим слушателям. Кроме влияния Шлегеля в этом отношении, оно проявлялось еще и в том, что он в значительной степени уяснил своему гениальному студенту значение Шекспира и ближе познакомил его с Байроном. А какое впечатление производил автор «Гамлета» на молодого Генриха, видно из следующих полушутливых слов его, относящихся к несколько более позднему времени:

«С Шекспиром я никак не могу чувствовать себя легко: я слишком чувствую, что он – всесильный министр, а я – простой столоначальник, и мне все чудится, что вот-вот он отставит меня от должности».

Что касается Байрона, то знакомство с ним началось у Гейне, по всей вероятности, еще раньше, если судить по «байроновскому» характеру многих из его первых произведений и писем по поводу несчастной любви к Амалии, – характеру, который мы, признавая позднейшую полную самостоятельность Гейне как поэта «мировой скорби», в эту раннюю пору не можем

не приписать влиянию именно творца «Каина». Да и сам Гейне чувствовал и понимал, что он покамест идет по дороге, проложенной Байроном, когда говорил, что у него «есть с английским поэтом нечто сходное в характере», или когда позже, при получении известия о смерти Байрона, писал: «Это был единственный человек, с которым я чувствовал себя в родстве – и мы были во многом похожи друг на друга». Правда, странная боязнь быть принятым за простого подражателя Байрона заставляла нашего поэта временами как бы отрекаться от его родства и вызывала у него странные объяснения вроде следующих:

«Право, в эту минуту у меня очень живое сознание, что я не иду по стопам Байрона, кровь моя не так сплинно-черна, как его кровь, моя горечь исходит только из орешков моих чернил, и если есть во мне яд, то он ведь только противоядие, – противоядие от тех змей, которые с такою опасностью для моей жизни подстерегают меня в мусоре старых соборов и замков. Из всех великих писателей Байрон именно тот, чтение которого действовало на меня неприятно-болезненным образом».

Но это заявление принадлежит к числу плодов тех минутных настроений, которые часто сменяются у Гейне одно за другим с калейдоскопическою быстротою и пестротою и являются причиною того, что этот поэт и человек менее кого бы то ни было поддается общим положительным выводам о его характере, частностях его мировоззрения и т. п. Возвращаясь к роли Шлегеля в сближении Гейне с Байроном, по сохранившимся известиям, усматриваем ее в том, что по совету профессора студент одно время проводил дни и ночи за переводами на немецкий язык произведений английского поэта, и именно его «Манфреда», – хотя сам Гейне уверяет, что занимался этим только «из тщеславия»: Шлегель будто бы доказывал своему молодому приятелю, что Байрон непереводим, и тот, для опровержения этого мнения, принялся за работу. Что касается достоинства ее, то Шлегель, по словам переводчика, не нашел в ней никакой разницы с подлинником, – и кто прочтет теперь эти переводы, тот если и найдет суждение Шлегеля несколько преувеличенным, то все-таки признает в немецком воспроизведении большие достоинства и сразу увидит, что это переводил поэт, совершенно родственный по духу с автором.

Сблизившись с немецкими профессорами, Гейне нашел и между студентами несколько человек одинакового с ним образа мыслей, одушевленных одинаковыми интересами, то есть литературными и художественными, – и из них особенно сблизился с Ж.-Б. Руссо. Другой его товарищ, Штейнман, оставил

нам не лишенное интереса описание внешности молодого поэта. Зимою одетый в белый фланелевый костюм, а летом – в желтую нанку, с надвинутой совсем на затылок ярко-красною Шапкой, с засунутыми в карманы руками, бродил он по улицам Бонна, всматриваясь пристально во все окружающее и находя именно в этих наблюдениях обильную пищу для сатирической стороны своего ума. Черты лица его были тонкие, цвет лица белый с легким румянцем, маленькие усики и постоянное ироническое выражение на губах, уголки которых особенно сильно вытягивались, когда ему приходилось сострить. Из других свидетельств мы знаем, что уже в эту пору развивалось в нем то своего рода кокетничанье отрицательным отношением к окружающей действительности, которое впоследствии, как это было и с Байроном, приняло более значительные размеры: как Байрон был, например, недоволен знаменитым скульптором Торвальдсеном за то, что тот не придал ему в бюсте достаточно мизантропического и разочарованного выражения, так боннский студент Гейне просит живописца, рисовавшего его портрет, не упустить из виду сатирического выражения его губ!..

Составить такой кружок, какой собрал около себя Гейне, сделавшийся тотчас же и самым выдающимся членом его, было трудно. В эту пору почти уже закончился тот период немецкой университетской жизни, когда студенчество было одушевлено нравственно чистыми и научными стремлениями, когда в сердцах большей части молодых людей, находившихся в немецких университетах, еще пылал огонь патриотического одушевления, который пробудили войны за освобождение. На смену этого фазиса университетской жизни явился теперь другой, когда место идеальных стремлений заступила грубая страсть к попойкам, дракам, кутежам; когда студенчество, в лучшем и благороднейшем значении этого слова, сменилось мелкой и по большей части узкой корпоративностью. Тут же было во всем ходу то шовинистское проявление «квасного» патриотизма, которое у немцев называлось – и называется – «немечничеством» и «тевтонством» и к которому Гейне, конечно, не мог относиться иначе как с антипатией; по крайней мере, мы имеем его заявление, что ненависть его к «тевтонам» зародилась в нем уже в ту пору. Прибавим к этому отвращение, которое Гейне, по аристократичности своего *духа,* свойственной всякому гению, питал ко всему грубому, ко всему, в чем слышалась лишенная всякого эстетического чувства «чернь», ко всему, что, по его словам, «слишком уж воняло скверным сыром, водкой и табаком»; прибавим и такие частные привычки, как некурение и воздержание от спиртных напитков, – и мы легко поймем, почему

с огромным большинством боннской университетской молодежи он не имел ничего общего. Тем теснее была его дружба – а чувство дружбы было сильно развито в нем – с теми людьми, с которыми сошелся он здесь. Конечно, и тут далеко не обходилось без «жуировки», на которую был так падок чувствительный Гейне и в которой главную роль играли женщины; но она нисколько не мешала членам этого кружка сходиться для обсуждения всяческих вопросов – литературных, научных, общественных, для чтения друг другу своих произведений, вообще для умственной работы.

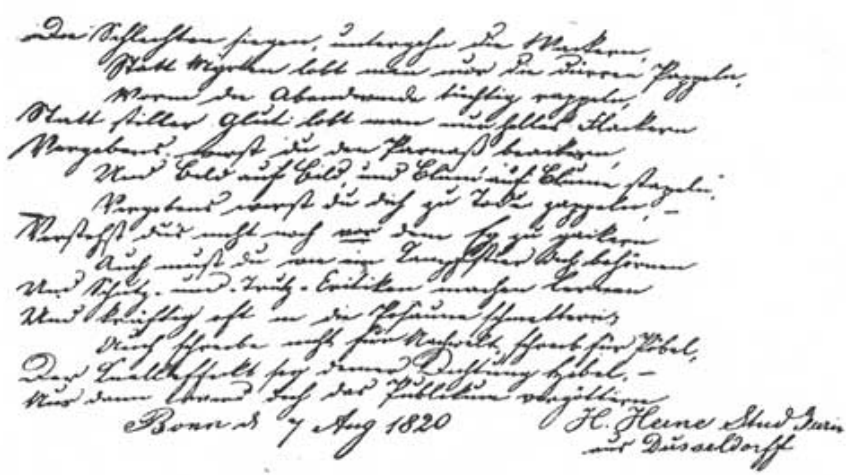
Гейне относился к этим занятиям самым серьезным образом, точно так же, как все серьезнее становилось его отношение к собственному поэтическому творчеству; отныне неизменным правилом его среди присущих всякому истинному дарованию мучительных сомнений в глубине своего творчества сделалось «Будь строг к самому себе»; и применение этого правила на деле, в продолжение всей жизни поэта, мы можем видеть в многочисленных оставшихся после него автографах стихотворений, где чуть не каждая строчка перемарана и переделана по несколько раз; в этом случае он тоже многим обязан Шлегелю, который перечитывал с ним его стихи и, указывая на те или другие несовершенства формы, побуждал молодого поэта работать над этим до тех пор, пока все недостатки не оказывались устраненными.

Поэтическое творчество Гейне, о котором мы только что упомянули, находило для себя в эту боннскую пору материал в острых воспоминаниях о своей недавней любви, в мире средневековых преданий и восточной поэзии, с которыми знакомил его все тот же Шлегель, в чудесной рейнской природе с ее цветущими берегами и такими же цветущими девушками, наконец, в тех «вопросах», которые все сильнее и сильнее возникали в голове и терзали сердце будущего поэта мировой скорби, находя себе уже теперь видное место в его произведениях. Под этими влияниями и впечатлениями в Бонне было написано немало песен, этих истинных жемчужин чистейшей лирики, баллад и романсов с их резко романтическим характером, сонетов, где самостоятельность и своеобразность творчества автора начала уже обнаруживаться в полном блеске; здесь же была начата трагедия «Альманзор» – все это произведения, к которым нам еще придется вернуться.

Но Гейне в своем творчестве не ограничивался только сочинением стихов; поэт работал и на критическом поприще – том, на котором впоследствии он заявил о себе так блистательно, несмотря на видимую легкость и поверхностность его замечаний, принесение иногда в жертву остроумию справедливости и

беспристрастия, парадоксальность и так далее. Первым плодом критической работы была написанная в Бонне, то есть когда автору было всего двадцать лет, статья о романтической школе, служащая как бы прологом к его большому, появившемуся значительно позже, сочинению «Романтическая школа»; в этой ранней статье критическое понимание автора, а вместе и его самостоятельность, сказались в том, что он, оставаясь еще ревностным приверженцем романтизма, в то же время здраво и метко указывал на недостатки и заблуждения школы.

В Боннском университете оставался Гейне недолго. 4 октября 1820 года, то есть меньше чем через год после поступления сюда, мы уже видим его студентом университета Геттингенского. Что было причиною этого перехода – неизвестно; хотя в одном из писем своих он выставляет причиною волю «быка» (так называл он в минуты раздражения своего дядю, Соломона Гейне), но гораздо основательнее, думаем, считать побудительным в этом случае обстоятельством надежды нашего поэта обрести более обильную пищу для своей научной и литературной любознательности в Геттингене, университет которого еще недавно пользовался блестящей репутацией. Надежды эти, однако, далеко не оправдались, они даже остались совсем неосуществленными. На ловца и зверь бежит: та обстановка, в которую попал будущий автор «Путевых картин» в Геттингене, могла дать только новый материал его сатирической наблюдательности, расширить еще более его пессимистическое отношение к жизни. И общество, среди которого вращался наш поэт, и аудитории, которые поневоле приходилось посещать ему, ибо «бык» настаивал на превращении молодого стихотворца в доктора юриспруденции, – все точно соединилось для содействия мрачному настроению, которое несколько лет спустя нашло себе литературное выражение в десятке страниц, навеки обессмертивших Геттинген и его университет.



Факсимиле сонета Гейне 1820 года.

Г. Гейне. ***Бюст работы Эрнста Гертера.***

Геттингенский университет.

Сам город, то есть общество, представился поэту битком забитым присяжными, педелями, диссертациями, прачками, компендиями, жареными голубями, гвельфскими орденами, гофратами, юстицратами и другими различными «ратами»; жителей его он разделил на четыре класса, которые, впрочем, немногим различались между собой: студентов, профессоров, филистеров и скотов; «класс скотов самый значительный», а филистеров «так много, как песку, или, лучше сказать, как грязи в море…»

Но гораздо важнее то впечатление, которое произвело на Гейне студенческое общество, окружавшее его. Большинство молодых людей принадлежало к ганноверскому дворянству (Геттинген входил в состав Ганноверского королевства), – дворянству той страны, «где, – писал Гейне в 1826 году, – только и видишь, что родословные деревья, к которым привязаны лошади, причем от великого множества деревьев страна остается во мраке и, несмотря на всех своих лошадей, не может двинуться вперед». В Геттинген это «милое юношество» посылали учиться, но тут они «сидели на корточках в своем кружке и беседовали только о своих собаках, лошадях и предках и мало занимались новою историей (то есть тою, которая могла бы послужить им во

многих отношениях в назидание), а если порою и слушали ее, то в это время мысли их были поглощены созерцанием так называемого „графского“ стола, который – характерное отличие Геттингена – был предназначен только для высокородных студентов». С презрением и негодованием смотрел Гейне на этих молодых людей, думавших, что «они – цвет мира, а мы, остальные – лишь трава», стремившихся «прикрыть заслугами предков свое собственное ничтожество», но большинство которых вряд ли могло бы достоверно сказать, что совершили их предки, и показывало только, что имя их упоминается в «Книге о турнирах» Рюкснера. Глубокие корни пускались в душе нашего поэта такими, например, эпизодами, как эпизод с дававшим в Геттингене представление скороходом.

«Бедняга, – писал Гейне, вспоминая этот случай уже несколько лет спустя, – добегался до изрядной усталости, когда несколько ганноверских дворянчиков, изучавших там humaniora, предложили ему два-три талера, чтобы он еще раз пробежал пройденный им путь, – и человек побежал; он был бледен как смерть, и на нем была красная куртка; а следом за ним в столбе пыли скакали упитанные благородные юноши на горделивых конях, которые задевали по временам копытами задыхавшегося от этой травли человека, – и это был человек!..»

Само собой разумеется, что молодежи такого сорта было мало дела до науки, тем более науки живой, вроде литературы, политической истории, истории культуры…

«Представь себе, – писал Гейне своему приятелю в Бонне, – что из числа здешних 1300 студентов – а между ними уж конечно тысяча человек – немцы – только девять (это были слушатели профессора Бенеке, читавшего древненемецкую литературу) интересуются языком, внутреннею жизнью и священным умственным наследием своих предков. О Германия! Страна дубов и тупоумия!»

Впрочем, судя по свидетельству самого же Гейне, геттингенские кафедры представляли собой весьма мало привлекательного, и над всем господствовал бездушный педантизм. Из всех профессоров, всходивших на эти кафедры, автор «Путевых картин» с уважением вспоминал лишь о двоих: о только что названном Бенеке и старике Сарториусе, особенно о последнем. Сарториус, по заявлению Гейне, уже в те молодые годы вселил в него глубокую любовь к изучению истории, а потом, укрепив эту страсть, повел дух своего ученика по спокойному пути, дал его жизненной отваге спасительное направление и, главное, приготовил ему те исторические утешения, без которых он никак бы не мог переносить обыденные

печальные явления.

О других геттингенских профессорах наш поэт или совсем не говорит, или говорит для того, чтобы охарактеризовать, вернее – навсегда заклеймить кого-либо из них. Правда, слова Гейне мы не должны принимать в настоящем случае за вполне наличную монету, тем более зная, что в Геттингенском университете, при действительно незавидном состоянии его в эту пору, были все-таки профессора, занимавшие в науке почетное место: мы должны постоянно помнить, что это отзывы *поэта* в крайне неблагоприятной для него, именно как поэта, обстановке, когда он, по его собственным словам, «не выходил из римских Пандектов», когда «римские казуисты опутали его ум будто серою паутиною, сердце точно прищемилось железными параграфами эгоистической системы права, в ушах то и дело звучало: Трибониан, Юстиниан, Гермогениан и Думерьян…» Но в этом-то именно отношении и дороги нам эти отзывы, ибо для нас в настоящем случае важна, конечно, не фактическая верность истории Геттингенского университета, а то, как действовала эта атмосфера на поэта, другими словами – каковы были его настоящие, задушевные стремления среди такой обстановки.

Понятно поэтому, как обрадовался наш поэт, когда через четырнадцать месяцев после поступления в Геттингенский университет он уже уходил оттуда, еще далеко не кончив курса. На этот раз причиною ухода было особое обстоятельство: затеявшаяся между ним и одним студентом из-за пустяка дуэль, которая, однако, не состоялась, так как университетское начальство заблаговременно узнало о ней; но последствием ее было, тем не менее, постановление совета об увольнении Гейне из числа студентов на полгода. Он, однако, не стал дожидаться истечения этого срока и, по желанию и назначению своих родных, которое и ему самому пришлось по сердцу, в конце февраля 1821 года уехал в Берлин для поступления в тамошний университет. Здесь начинается новый период во внешней и еще более внутренней жизни поэта.

Глава III. Жизнь в Берлине. Докторский диплом

Берлин. – «Берлинские письма». – В гостиных Рахили и баронессы Гогенгаузен. – Влияние Берлинского университета на духовный мир Гейне. – Среди оргий. – Первый сборник стихов. – «Лирическое интермеццо». Лавры и терний. – Денежные затруднения и внутренний душевный разлад. – Свидание с родителями. – Путешествие на Гарц и встреча с Гёте в Веймаре. – Гейне получает диплом доктора юридических наук и принимает христианство.

Берлинские дни были во многих отношениях светлыми и благотворными днями в существовании Гейне; политическая реакция, лежавшая в эту пору на всей Германии вообще, резко и нисколько не стесняясь проявляла себя и в Берлине, постепенно разрушая надежды на более свободное формирование государственного организма. С негодованием говорил (несколько позже) наш поэт о том, что на разных конгрессах, конференциях и т. п. судьбами этого народа распоряжались совершенно самовольно, что государства продавали одно другому своих подданных, или менялись ими, как товаром, что в то время, когда негодующие немцы «укутывались пурпурным плащом германского героизма» и пытались величественно выступать в нем вперед, выскакивал на сцену «какой-нибудь политический фигляр» и на голову этих патриотов-героев «надвигал дурацкую шапку с погремушками…» Естественно, что такой порядок вещей очень неблаготворно отражался на печати: как на нее, так и на находящуюся с ней в близкой связи книжную торговлю обрушивались самые строгие политические меры, вследствие чего литература ограничивалась областью «изящной словесности» в самом тесном значении этого слова, а именно областью романа – дюжинного, «бульварного», за немногими только исключениями; журналистика поневоле воздерживалась от обсуждения каких бы то ни было политических вопросов и посвящала чуть не все свои столбцы водянистым эстетическим рассуждениям, литературным сплетням, театральным рецензиям, маленьким скандальчикам, «так что, – как жаловался позже Гейне, – кому попадались в руки наши газеты, мог бы подумать, что немецкий народ состоит исключительно из болтающих всякий вздор нянюшек и театральных рецензентов». Зато, как это почти всегда бывает, развилась в широких размерах общественная жизнь в ином направлении.

В Берлине делалось все возможное для процветания «искусства» и «веселости». «Опера, театр, концерты, ассамблеи, балы, частные вечера, маленькие маскарады, спектакли любителей и так далее – вот наши главнейшие развлечения во время зимы», – писал Гейне. Сам он на первых порах тоже кинулся в этот водоворот с живым увлечением, кинулся как по своей страсти к шумной, кипучей жизни, которая постоянно чередовалась у него с настроением совершенно противоположным, так и по весьма естественному любопытству провинциала, попавшего из скромных городков, где до сих пор протекала его жизнь, в великолепную и оживленную столицу. Правда, его веселье, его увлечение этой жизнью имеет свой особенный, специфический гейневский характер: из многих мест его «Берлинских писем» видно, что среди увлечения шумною жизнью Берлина поэта не оставляло сатирическое отношение к действительности. На первых порах оно было еще довольно слабо, подавляясь в значительной степени чисто внешними впечатлениями; но чем более охладевала первая горячка, чем более стушевывался наивный и увлекающийся провинциал и выплывал наружу Генрих Гейне, тем сильнее пробуждался в нем насмешливо-критический дух, находивший в окружающей действительности обильную пищу. Эту пищу дает ему и сам город с внешней стороны, – город, «хотя выстроенный в новом вкусе, очень красиво и правильно, но все-таки производящий какое-то скучное впечатление», – город с его «длинными однообразными домами, длинными и широкими улицами, вытянутыми и построенными по шнурку и большею частью по безусловной воле одного человека, вследствие чего нельзя из них вывести никакого заключения об образе мыслей массы», – город такой, что «если вы захотите увидеть в нем хоть что-нибудь, кроме мертвых домов и берлинцев, то вам придется запастись для этого несколькими бутылками поэзии».

Чтобы получить полное понятие о тех чувствах, которые вызывались в молодом поэте-студенте тем, что встречал он в Берлине подле себя, стоит прочесть следующие строки из письма, где идет речь о «квасном» патриотизме берлинцев:

«Я замечаю, что вы довольно кисло смотрите на меня вследствие горького, насмешливого тона, с каким я иногда говорю о предметах, которые для других дороги, и должны быть дороги. Но я не могу говорить иначе. Моя душа слишком сильно горит стремлением к истинной свободе, чтобы я не ощущал досады при виде наших крошечных, широкоболтливых героев свободы в их пепельно-серой мизерности; в моей душе живет слишком много любви к Германии и почтения к немецкому

величию, чтобы я мог вторить бессмысленному хору этих грошовых людей, кокетничающих своим „немечничеством“; иногда почти судорожно шевелится во мне желание сорвать смелой рукой с головы старой лжи личину набожности и разодрать кожу самого льва, потому что я вижу, что под ней скрывается осел…»

И тем не менее, несмотря на все это, пребывание Гейне в Берлине имело для него несомненно благотворное значение. «Из кладовой мертвой учености, – замечает Штродтман, – вступил он в средоточие мировых философских идей, из замкнутых студенческих кружков и комнатки мечтающего поэта попал в общественную жизнь столицы и вступил в контакты с лучшими представителями интеллигенции; из фантастических туманных грез романтики очутился в ярко освещенном мире действительности». Важную роль в этом отношении сыграли как кружки, представлявшие собой точно оазисы в общей умственной и нравственной пустыне, потому что в них на первом плане стояли интересы литературы, науки, культуры, прогресса, – так и то, что нашел Гейне в аудиториях Берлинского университета.

Что касается кружков, то во главе их – как это было и с салонами XVIII века – стояли большею частью женщины, между которыми выделялись Рахиль Варнхаген фон Энзе и Элиза Гогенгаузен, особенно первая. Рахиль Левин, дочь богатого еврейского купца, впоследствии вышедшая за известного писателя и критика Варнхагена фон Энзе, была в высшей степени даровитая, можно даже сказать гениальная натура, в которой притом умственные превосходства соединились с высокими нравственными достоинствами.

Рахиль Варнхаген фон Энзе, урожденная Левин.

Карл Август Варнхагена фон Энзе.

В ее гостиной сходились и первоклассные деятели, и начинающие таланты, – и вот между ними в первые же месяцы своего пребывания в Берлине появился Генрих Гейне с рекомендательным письмом от одного из друзей хозяина. Никто почти не обратил вначале особенного внимания на нового посетителя, бледного и болезненного молодого человека, с виду совсем невзрачного, с очень приятным, но тихим и однообразным голосом, довольно робкого и неповоротливого, в далеко не щегольском костюме провинциала. Но немногим месяцам надо было пройти для того, чтобы автор стихотворений, скоро долженствовавших впервые появиться в печати и покамест только декламировавшихся в этой гостиной, занял здесь одно из самых выдающихся мест и снискал особое покровительство хозяйки – в то время уже почти сорокапятилетней женщины. Рахиль и Гейне были две во многих отношениях родственные натуры, которые сближало между собой еще одно частное обстоятельство – общность происхождения и одинаковое воззрение на «еврейский вопрос»: она, как и он, видя, с одной стороны, позорное в политическом и общественном отношении положение евреев, с

другой – их узкий фанатизм, племенную ненависть к христианам, торгашеские наклонности и действия, считала великим для себя несчастием, что родилась еврейкой, и свое еврейское происхождение называла кинжалом, который какое-то сверхъестественное существо вонзило ей в грудь в первую же минуту ее появления на свет. Но независимо от этих обстоятельств дарование Гейне само по себе было причиною того, что и Рахиль, и ее муж скоро стали высоко ценить и пропагандировать во мнении других произведения молодого поэта, особенно подкупавшие их тем, что в них – собственно тех, которые были написаны в народном духе – обнаруживалось родство с манерою Гёте в формальном отношении. А культ Гёте стоял на первом плане в варнхагеновской гостиной, которая, как и несколько других подобных кружков, составляла противовес тем нападениям на великого писателя, которые шли из партии противоположной. Под влиянием Рахили и ее кружка – во всяком случае, в значительной степени – установился и в Гейне правильный взгляд на автора «Фауста». История литературного отношения Гейне к Гёте – история в высшей степени интересная и характерная – не входит в рамки настоящего биографического очерка, да она и заняла бы слишком много места. Заметим только, что если автор «Путевых картин» не вполне симпатизировал великому «олимпийцу», никогда не был *безусловным* приверженцем его, если иногда обнаруживал он относительно Гёте чувства даже совершенно противоположные (например, когда называл его «холопом аристократов» или «слабым, отжившим богом», который боится «подрастающих титанов»), то главною причиною отсутствия *симпатии* была та разнородность натур этих двух поэтов, на которую указывает сам Гейне в одном из своих писем, а чувство неприязненное, даже враждебное, проявившееся одно время, имело источником, во-первых, политические условия этого времени, во-вторых – тут играло роль чисто личное чувство нашего поэта, который завидовал Гёте и, будучи всегда весьма чувствителен к малейшим уколам своего самолюбия, возмущался его позицией, когда он с покровительственною снисходительностью отнесся к первым произведениям молодого поэта. В сущности же, при существовании этих «теней» в отношениях Гейне к Гёте, все остальное здесь было ярким «светом»: что Гейне глубоко понимал и чтил в Гёте колоссального художника, доказывается множеством мест в его письмах и произведениях. Важность влияния в этом случае Рахили и ее мужа не подлежит сомнению, как несомненно также, что эти две личности вообще подействовали очень благотворно на поэтическое развитие своего

молодого друга, на установление в нем правильного эстетического критерия, еще более строгого отношения к себе и т. п. И не только умственно совершенствовался Гейне в этой обстановке; он отдыхал здесь и сердцем, находил успокоение своему внутреннему разладу, непрестанному напряжению своих нервов.

Правда, дружеские отношения поэта к Варнхагенам несколько раз нарушались, сменяясь холодностью и даже одно время почти разрывом – каждый раз по его вине; но тут источником служили те непривлекательные стороны в натуре Гейне – например, злопамятность, часто мелочное самолюбие, мелочная раздражительность и тому подобное, – которые заставляли его поступать таким же образом, и нередко в гораздо более резкой степени, со многими из своих друзей.

В гостиной баронессы Гогенгаузен господствовал культ другого знаменитого поэта – Байрона, и хозяйка, познакомившись с произведениями Гейне и своеобразием его натуры, не замедлила провозгласить его прямым преемником автора «Чайльд Гарольда» в Германии и вместе с Рахилью Варнхаген быстро распространяла его покамест еще не состоявшуюся известность. Кружок баронессы, которая была и сама писательница, также состоял из выдающихся деятелей литературы, науки, искусства, так что благотворное влияние, оказанное на Гейне варнхагеновским кружком, находило себе дополнение и здесь. Ко всему этому присоединились умственные веяния другого рода, исходившие, как уже упомянуто выше, из Берлинского университета. Каково было положение этого последнего в ту пору, когда Гейне сидел на скамьях его, видно из того, что несколько кафедр были заняты такими светилами науки, как философ Гегель, юрист Ганс, санскритолог Бопп, эстет Вольф. Во главе всего, образовав особенную школу, стоял Гегель, бывший для поколения тридцатых и непосредственно предшествовавших им годов тем, чем был Шеллинг для романтической школы, пустивший своим учением о разуме, о государстве и обществе, своею разъедающей диалектикой глубокие корни не только в Германии, но и во всей Европе (и в России, где чуть не все лучшие люди сороковых воспитались на Гегеле): во многих немецких университетах скоро заняли первые места по различным кафедрам именно гегельянцы. Гейне тотчас же сделался горячим приверженцем освободительного учения знаменитого философа. Правда, впоследствии он посмеивался над этой философией, над ее отвлеченностью и туманностью, над тем, что она превращала живых людей в идеи и т. п.; гораздо позже он говорил Лассалю, что «в пору своего берлинского

студенчества мало понимал из философии Гегеля, но принимал ее только вследствие своего убеждения, что учение это составляет истинно кульминационный пункт века в умственном отношении». Правда, за два года до своей смерти он в «Признаниях» делал такое полусерьезное-полушутливое заявление: «Вообще, философия эта никогда сильно не увлекала меня, а об убеждении в этом отношении не может быть и речи; я никогда не был отвлеченным мыслителем и принял без оценки синтез Гегелевой философии, выводы которой льстили моему самолюбию: я был молод и горд, и высокомерие мое было польщено, когда Гегель сообщил мне, что я на земле – бог…» Но в этом полу отречении от Гегеля, независимо от проявления здесь одной из основных склонностей Гейне – смеяться над всем на свете, даже самым дорогим для него, играли роль и специфические обстоятельства, например, желание оправдаться в возводившемся на него как раз в это время обвинении, что он от атеизма вернулся к прежнему деизму. На самом же деле гегелевская философия глубоко внедрилась в ум поэта. К лекциям Гегеля и беседам его (Гейне находился и в личных контактах со знаменитым философом) присоединим лекции Боппа, открывавшие Гейне с совершенно новых сторон мир восточной поэзии, и Ганса, который, по позднейшему отзыву Гейне, «способствовал развитию германского либерализма – освободил от нелегких уз даже наиболее скованные мысли, сорвал маску с лица лжи» и, стоя в юридической науке на философской почве в духе и направлении Гегеля, «самым сокрушительным образом ратоборствовал против тех холопов римского права, которые, нимало не разумея духа, оживлявшего древнее законодательство, занимаются по отношению к нему только тем, что очищают внешнюю одежду его от пыли и моли»; вспомним и лекции Вольфа, объяснявшего внутренний смысл и внешнюю художественную красоту в поэтических произведениях древних греков, и мы увидим, что пребывание Гейне в Берлинском университете оказывалось для него, несомненно, очень благотворным. Расширению его умственного кругозора, направлению и упрочению его политических и социальных воззрений в том духе, в каком они являлись в его последующих произведениях, соответствуя, так сказать, и его органическим, врожденным воззрениям, способствовало также в значительной степени общение его с несколькими родственными ему по духу и стремлению молодыми людьми, занявшими потом видное место в литературной и культурной жизни Германии (например, поэт Иммерман), которые если подчинялись сами влиянию будущего автора «Путевых картин», сознавая присутствие в нем высшей,

«отмеченной божьим перстом» натуры, то оказывали и на него значительное действие в интеллектуальном отношении. С несколькими из этих людей связывали нашего поэта, кроме интересов общих, и интересы более частные: речь идет о членах образовавшегося в то время в Берлине «Общества культуры и науки еврейства», которое, действуя в духе знаменитого реформатора немецких евреев и философа Мендельсона (друга Лессинга), поставило себе, как объяснял Гейне, целью посредничество между историческим иудейством и новейшею наукой, о которой предполагали, что она с течением времени должна будет стать во главе управления всем миром.

Гейне примкнул к этому кружку настолько же горячо, насколько презрительно и с негодованием избегал всяких сношений с тем берлинским еврейством, которое или фанатически держалось своих традиционных предрассудков, или ставило на первый план торгашеские интересы; он не пропускал почти ни одного заседания, одно время исполнял даже обязанности секретаря, и так как вопрос собственно еврейский обсуждался здесь в неразрывной связи с вопросами общими и нравственными, политическими и социальными – то понятно, что общение с этими людьми надо причислить к благотворным сторонам пребывания нашего поэта в Берлине.

Но не в такой только обстановке проходила здесь его жизнь. Чувственные наклонности, жажда шумной, часто беспутной, циничной жизни, постоянно чередовавшаяся у Гейне с мизантропическим затворничеством, уходом в высшие интересы, в свой внутренний мир, увлекали его в другие кружки: людей умных, даровитых, но совершенно безалаберных, лишенных нравственного устоя, погибавших или в сумасшествии, или от других подобных причин, жертв собственной несчастной натуры и несчастных житейских обстоятельств. В такой компании, этом прототипе нашей современной литературной «богемы», интересы литературы занимали видное место, но занятие ею шло среди беспрерывных кутежей и оргий, и Гейне принимал в этом немалое участие, причем у него, никогда ничего не пившего, главную роль играли женщины. Судя по тому, что в одном из стихотворений он очень энергично заявляет, что никогда в жизни не соблазнил ни девушки («плюньте мне в глаза, если я сделал это»), ни чужой жены; судя и по некоторым другим указаниям его же, надо заключить, что женщины, составлявшие *реальный* предмет увлечений нашего поэта, как и Байрона, принадлежали к разряду «вольных». А что в большинстве как теперешних, так и последующих увлечений женским полом сердце не играло никакой роли, а чувственность, напротив того, очень большую –

это доказывают опять же некоторые его собственные стихотворные признания, делаемые им в цинично-шутливом тоне.

Этот образ жизни, продолжавший весьма пагубно действовать на здоровье поэта, усиливавший то, что мы видели уже значительно развившимся при подобной же обстановке в Гамбурге, принял в Берлине еще более широкий размах, когда пришло известие о выходе замуж Амалии; по крайней мере, так объясняют это обстоятельство иные биографы, так объясняет это и сам Гейне. Мы уже высказали наш взгляд на такой способ лечения грусти и отчаяния, хотя в настоящем случае очень может быть, что на самых первых порах усиленная отдача себя такого рода наслаждениям и была следствием оскорбленного самолюбия, досады и тому подобных чувств. Но зато не может быть сомнения, что при той, можно сказать, беспредельной субъективности, которою отличалось поэтическое творчество Гейне, превращение девицы Амалии в почтенную мадам Фридлендер вызвало у нашего поэта целый ряд стихотворении, где глубокое чувство, разъедающая ирония, звон бубенчиков дурацкого колпака рядом с восхитительнейшими звуками лучшего инструмента – все то, одним словом, чем отличаются песни любви Гейне от песен всех других поэтов, появилось уже во всем своем блеске. Укажем для примера хотя бы на известное каждому стихотворение «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» [1] с его знаменитым окончанием:

Das ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie imrner neu… [2]

Часть этих стихотворений, вместе с другими, написанными прежде, появилась в печати в начале 1821 года, а в конце этого года, с несколькими дополнениями, они вышли в свет отдельной книжкой, доставив автору от издателя, книгопродавца Маурера, сорок даровых экземпляров в виде гонорара. Но могло ли огорчать молодого поэта это комически-скудное вознаграждение после того, как другой издатель, знаменитый Брокгауз, совсем отказался взять на свой риск печатание сердечных излияний неведомого писателя, какого-то юноши Гейне, и, в особенности, когда грандиозным дополнением к этому гонорару явился блистательный успех? На публику эти стихотворения, в которых покамест еще не было никакого сатирического, политического и социального элемента и где автор выступал только романтиком, певцом любви и поэтом в народном духе, – на публику они произвели громадное действие потому, что она впервые увидела в такой удивительной форме то, «чего именно недоставало этому

вялому, апатичному, унылому времени», – силу порывистой, живой, даже иногда дикой страсти. Критика в лице лучших представителей своих радостно приветствовала этот могучий талант, это «новое слово» в поэзии: Варнхаген указывает на полную самостоятельность этих созданий, на необычайное уменье проникать в тайны народного творчества; Иммерман обращал внимание на «мировую скорбь» в стихотворениях молодого поэта и объяснял ее возмущением сухостью, бесцветностью, пошлостью и гнусностью того, что окружало автора; анонимный критик одного из лучших журналов проводил параллель между Гейне и Байроном, показывал несомненную оригинальность немецкого поэта при видимой подражательности английскому и весьма справедливо и метко усмотрел в произведениях Гейне, при их внешнем романтизме, отсутствие всего того, что составляло основной элемент этого последнего, и, напротив, присутствие элемента противоположного – чисто человеческого и гражданского.

Поощренный таким успехом (конечно, не было недостатка и в нападениях узкой ограниченности), поэт с этих пор безостановочно пошел по новому пути: в апреле 1823 года появились в печати его трагедии «Альманзор» и «Ратклиф» и, в приложении к ним, сборник стихотворений под заглавием «Lyrisches Intermezzo». Первая из этих трагедий была начата, как мы видели, уже в Геттингене, вторая написана в Берлине и, по свидетельству автора, окончена в три дня. Как произведения драматические, да и во многих других отношениях, обе эти пьесы плохи; но они изобилуют лирическими красотами; главное же достоинство, главный интерес их заключается в совершенной субъективности той и другой, в тесной связи их с внутреннею и внешнею жизнью Гейне. В «Альманзоре» наш поэт, по его собственным словам, «вложил свое собственное *я,* со своими парадоксами, своею мудростью, своею любовью, своею ненавистью и всем своим безумием»; трагедию «Ратклиф» он причислил к «процессуальным актам своей поэтической жизни» и, едва вступая на житейскую дорогу, уже заявлял, что тут он произносит «последнее (!) слово» своего миросозерцания. Такой же, отчасти напускной, или, вернее, не пережитой, не сердечный, а умственный характер имеет посвящение трагедии «Ратклиф» одному из приятелей автора, где чудесными стихами он говорит: «Я искал сладкую любовь – и нашел глубокую ненависть; я стонал, я проклинал, из тысячи ран сочилась кровь моя; день и ночь также вращался я среди всякой сволочи; и вот, когда были пройдены мною все эти стадии, тогда я спокойно написал своего „Ратклифа“.»

Но, сердечное или умственное, купленное действительным опытом или сочиненное, настроение это имеет для нас большую важность как дающее ценный материал для характеристики тогдашнего Гейне с его внутренней стороны, – важность значительнее той, которую эти трагедии имеют в наших глазах по связи их с внешнею жизнью поэта, и именно – с его несчастною любовью к кузине Амалии. В «Альманзоре» к этому автобиографическому основанию присоединился еще другой мотив – все тот же еврейский; по всей трагедии проходит красною нитью «великая еврейская скорбь», и опять с тех же двух сторон, с каких смотрел Гейне на это дело: тут, под видом мусульман, мы встречаем и сатиру на евреев, особенно на тех, которые – как это видел Гейне в Берлине – из-за личных выгод переходили в христианство, и сочувствие к еврейскому племени как угнетенному, а следовательно и ненависть к притеснителям, изображенным здесь, конечно ради цензуры, в лице Фердинанда и Изабеллы…

Несравненно выше по поэтическому достоинству напечатанное вместе с трагедиями «Lyrisches Intermezzo» – сборник песен, полных удивительной гармонии, всевозможных оттенков, обаятельной прелести, – песен, в которых чистый лирик явился уже во всей зрелости, несмотря на столь молодые годы его, и которые, составив его громкую славу, теперь закрепили ее на все будущее время: имя Генриха Гейне, еще несколько месяцев назад почти никому неведомое, отныне вписалось неизгладимыми буквами на страницы истории немецкой поэзии, и этот юноша мог услышать, как вдруг вся Германия запела его песни и как множество поэтов и поэтиков пустились наперебой подражать этим совершенно новым, неслыханным дотоле в немецкой лирике звукам. В то же самое время он заявил себя с хорошей стороны – конечно, в гораздо меньшей степени, чем в области чистой поэзии – и как писатель вообще: критическими статьями, где уже теперь обнаруживались отличительные свойства его деятельности на этом поприще, и картинами общественной жизни («Письма из Берлина»), в которых, при всей их слабости, нельзя не видеть особенностей чисто гейневского стиля, покамест еще как бы пробующего себя в этом новом роде и долженствовавшего вскоре явиться в своей неподражаемой, можно сказать, гениальной оригинальности и прелести в «Путевых картинах».

Но среди этих литературных успехов, окончательно определивших будущую профессию нашего поэта, хотя он и продолжал готовиться к юридической карьере, среди такой обстановки в этом отношении, которая должна была влиять на

его настроение, на его отношение к жизни самым благоприятным образом, – эта же самая, столь блистательно начатая карьера не замедлила обнаружить и свои тернии, действовавшие очень раздражающе на человека, у которого, уже по складу его натуры, разливалась вся желчь в тех случаях, когда другой оставался бы если не равнодушным, то более или менее спокойным. Тернии эти состояли в резких порицаниях известной части печати и публики оппозиционного, необычайно смелого, даже дерзкого отношения Гейне ко многим традиционным вопросам религии, морали и нравов. Раздражение и негодование того, на кого обрушивались эти нападения, вероятно, не приняли бы особенно больших размеров, если бы этим дело и ограничилось. Но к ним присоединились клевета, инсинуации и другие подобные приемы, от которых Гейне пришлось потом страдать почти до самой смерти. В настоящем случае они исходили, с одной стороны, от евреев старой партии, которые не могли простить поэту его эпиграмм и насмешек и обвиняли его в антиеврейском настроении и направлении; с другой стороны, ханжествующая и лицемерно-пуританская часть немецкой печати, усматривая в «Альманзоре» антихристианские тенденции, делала против автора этой трагедии самые неприличные, часто даже гнусные выпады. «Меня здесь раздражают и оскорбляют, – писал он одному из своих друзей, – я крепко зол на пошлую сволочь, эксплуатирующую в свою пользу дело, которому я уже до сих пор принес столько великих жертв и за которое до конца моей жизни не перестану проливать кровь моего мозга…»

Эти клевета и сплетни тем сильнее влияли на поэта, что они тяжело отзывались и на его житейских обстоятельствах: как нам уже известно, в материальном отношении судьба его зависела исключительно от богатого дяди Соломона, а недоброжелатели и враги поэта в староеврейской партии, куда присоединялись и некоторые из родственников его, старались выставить Гейне в неблагоприятном свете именно перед этим миллионером – выставить как человека легкомысленного, распутного, от которого нельзя ждать ничего лучшего. Дядя и без того смотрел в это время на Генриха довольно недоброжелательно, начиная убеждаться, что из пребывания молодого человека в университете не выйдет ровно ничего относительно его юридической карьеры и что, следовательно, даваемые солидным банкиром деньги на приготовление к этой карьере бросаются на ветер. Инсинуации добрых родственников и знакомых вливались только лишними каплями в чашу неудовольствий старика Соломона, и было время, когда поддержка с его стороны могла прекратиться, тем более что и наш поэт далеко не всегда оказывался почтительным

племянником: в минуты раздражения он говорил ему весьма резкие и нелестные вещи, например: «Знаешь, дядя, в тебе самое лучшее то, что ты носишь мое имя», – с тем, однако, чтобы потом снова возвращаться к почтительному и ласковому тону, часто даже к заискиванью прямыми и окольными путями. Это происходило оттого, что денежный вопрос был всегда «проклятым вопросом» для Гейне, и следящий за историею его жизни может, кажется, безошибочно утверждать, что не было в ней почти ни одного дня, когда поэт не терпел бы материальной нужды и не изыскивал поневоле тех или иных способов, чтобы выйти из затруднений. Причина такого положения заключалась, однако, не только в скудости средств, которыми всегда пользовался Гейне, но и в крайнем, чисто поэтическом неуменье распоряжаться деньгами, сорить ими направо и налево без всякой мысли о завтрашнем дне, употреблять проходившие сквозь его руки талеры то совершенно безалаберно, то для помощи другим нуждающимся. В ту берлинскую пору, о которой мы рассказываем, денежные ресурсы поэта, еще ничего не получавшего за свой литературный труд, состояли в 400 талерах, ежегодно выплачивавшихся ему дядею, с добавлением время от времени других небольших субсидий и были, следовательно, таковы, что экономный и рассудительный студент мог бы без нужды жить на них; но для Гейне, при только что упомянутой и вполне естественной непрактичности его, к которой присоединилась и ненасытная жажда житейских наслаждений, – для Гейне эти субсидии оказывались далеко не достаточными, вследствие чего ему приходилось то и дело обращаться за помощью к своим друзьям.

«Но, – замечает профессор Гюфер, – как ни велика была легкость, с которою Гейне делал набеги на приятельские кошельки, эти долги он платил, если не всегда аккуратно в срок, то всегда добросовестно и постоянно доказывал на деле свою готовность помогать, в ущерб самому себе, нуждающимся знакомым и даже первым встречным». К денежным затруднениям присоединилось как причина мизантропического состояния, часто овладевавшего поэтом, усиление нервной болезни, которая выражалась в острых головных болях и общей раздражительности и началась, как мы видели, уже раньше, а теперь, благодаря в значительной степени образу жизни, развивалась все больше и больше. При той цене, которую Гейне уже теперь придавал собственному я, при той крайне, часто даже мелочно щепетильной внимательности, с которою он относился ко всему, касавшемуся его личности, неудивительно, что все частные, лично его и никого больше не касавшиеся неприятности он не

отделял от тех явлений в общественной и политической жизни, которые в это же время действовали на него также раздражительно, не отделял и от тех тяжелых ощущений, которые вызывал в нем, независимо от всяких реальных причин, его внутренний разлад, – тот разлад, которым он страдал всю жизнь как один из самых видных представителей «болезни века». То же самое в значительной степени видим мы у Байрона. Как английский поэт, уезжая двадцатилетним юношей из Англии и еще далеко не имея житейского опыта, проклинал уже всю свою страну и весь свой народ под впечатлением чисто личных неприятностей, нескольких наблюдений над окружавшею его английскою жизнью и того же внутреннего разлада, так и Гейне, мучимый преимущественно тем, что касалось его лично, обобщал, так сказать, свои ощущения и тем сильнее чувствовал раздражение от окружавших его явлений общих. Такое объяснение даем мы тем взглядам и чувствам, которые в это время выражались в нескольких письмах его, например в следующем, очень характерном в этом отношении, особенно по сравнению начала его с окончанием:

«Я не хочу быть больше твоим другом, – писал он одному из лучших приятелей своих. – Я живу теперь в совершенно особом настроении, и это обстоятельство есть, может быть, главная причина многого. Все, что называется немецким, мне противно, а ты, к сожалению, немец. Все немецкое действует на меня, как рвотный порошок. Немецкий язык терзает мой слух. Временами меня тошнит от моих собственных стихотворений, когда я вижу, что они написаны по-немецки. Даже писание этого письма коробит меня, потому что немецкие литеры болезненно действуют на мои нервы… Я никогда бы не думал, что эти животные, которых называют немцами, составляют такую скучную и в то же время такую злобно-хитрую породу. Как только мое здоровье поправится, я покину Германию, переселюсь в Аравию, стану там вести пастушескую жизнь, сделаюсь человеком во всем значении этого слова, буду жить между верблюдами, которые не студенты, буду писать арабские стихи, наконец – буду сидеть на священном утесе, где Меджнун вздыхал по Лейле… О Христиан, если бы ты знал, как моя душа жаждет спокойствия и как ее с каждым днем терзают все больше и больше! Я провожу в бессоннице почти все ночи. В грезах я вижу моих так называемых друзей, слышу, как они шипят друг другу на ухо различные историйки и заметочки, стекающие в мой мозг, точно капли свинца. Днем преследует меня вечная подозрительность, повсюду я слышу мое имя, сопровождаемое язвительным смехом…»

Одно время поэт действительно думал уехать не только из

Берлина, но и вообще из Германии, и переселиться не в пустынную Аравию, к верблюдам, а в шумный, давно уже притягивавший его к себе Париж, где, «по крайней мере, – говорил он, – мне не будут колоть глаза тем, что я еврей», и где, как он надеялся, еврейство не будет мешать его «карьере»; стало быть, и это обстоятельство входило в число причин его мрачного настроения. Но широкие планы разрешились покамест только кратковременною поездкой в приморское местечко Куксгавен с целью поправления здоровья, – поездкой, важной в том отношении, что здесь поэт впервые увидел море, то море, которое он, по его словам, «любил, как свою душу», и в котором, как в теперешнее свое первое знакомство с ним, так и в последующие, он нашел материал для стольких удивительных стихотворений. Некоторые из них были написаны им уже в Куксгавене, и с этим запасом, равно как и с несколькими другими литературными планами, он отправился в Гамбург, побывав в это же время в Люнебурге, куда переселилась его семья. В Люнебурге он имел удовольствие увидеть, что мать отнеслась к первой книжке его стихотворений совсем неодобрительно, а отец и вовсе не читал ее; в Гамбурге, куда он ездил повидаться с дядей Соломоном, чтобы прозондировать эту важную для него почву и, быть может, умягчить ее, ему пришлось убедиться, что поэтическая деятельность его оценена еще меньше, чем в Люнебурге, и что, если хочет он и теперь, и в будущем пользоваться поддержкою миллионера, то надо ему прежде всего думать о практической, «хлебной» профессии. Неудивительно поэтому, что в Гамбурге мы видим его еще мрачнее настроенным; и если, говоря в одном из писем отсюда о «каком-то жестоком безумии, которое овладевает его существом», о том, что мрачный гнев лежит, как раскаленный ледяной покров на его душе, о том, что он «жаждет вечной ночи», если такие ощущения он приписывает тому, что вид Гамбурга воскресил в нем воспоминание о недавней несчастной любви к Амалии, то причина эта далеко не единственная, даже второстепенная, пристегнутая только к другим, более существенным; делаем такой вывод потому, что в это же время, в самом разгаре мизантропии, поэт нашел возможным увлечься какою-то новой «таинственной незнакомкой»… Делать, однако, было нечего. Пока не наступило время, когда поэту можно было бы в материальном отношении стоять на собственных ногах только с помощью своей литературной деятельности, надо было подчиняться той воле, от которой получались средства к существованию; и вот почему по возвращении из Гамбурга Гейне довольно деятельно стал готовиться к выпускному экзамену, поневоле решившись, как он выражался, оставить стихи на

лучшее время. Но само собою разумеется, что оставаться без поэтического творчества он не мог и если не печатал, то продолжал писать. По неизвестным причинам, для окончательного приготовления к выпускному экзамену и сдачи его Гейне отправился из Берлина в ненавистный ему Геттинген; думаем, что источник этого странного поступка следует искать в прихотливости многих поступков нашего поэта вообще, в трудности для него долго оставаться на одном и том же месте и постоянной жажде перемен как следствий постоянного внутреннего томления и тревожного беспокойства. В Геттинген он приехал в январе 1824 года, и жизнь его по-прежнему разделилась между умственными занятиями – вольными и невольными – и житейскими наслаждениями. Но наряду с этим он пребывает в угаре мизантропии, скорби, уныния, и, чтобы освежиться, дать успокоение своим нервам, поэт в сентябре 1824 года, воспользовавшись каникулами, отправился в путешествие на Гарц и по Тюрингии. «В горы от вас ухожу я», – говорил он, перенося впоследствии на бумагу впечатления этого путешествия и обращаясь к тем людям, которые окружали его, с их «приторно-сладкими речами, ласками, лобзаньями, объятиями, звуками ложных страданий, отсутствием теплой любви в душе», —

В горы от вас ухожу я,
В горы, где набожны люди,
В горы, где воздух свежее,
Легче где дышится груди;
В горы, где шепчутся ели,
Воды прозрачны, гремучи,
Весело птицы щебечут,
Гордо проносятся тучи…
Мир вам, блестящие залы,
Гладкие дамы, мужчины!..
В горы!.. Оттуда взгляну я
Весело в ваши долины!..

Почти пешком прошел он чудесные места и на возвратном пути посетил разные города – Йену, Веймар, Эрфурт, Готу и другие. Очень любопытным эпизодом этого путешествия представляется посещение нашим поэтом старика Гёте в Веймаре. Приехав в этот город, он отправил автору «Фауста» следующую записку, в которой, сквозь большую долю искренности, мы, зная Гейне, не можем однако не усматривать некоторой иронии в связи с сознанием собственного достоинства:

«Прошу Ваше Превосходительство доставить мне счастье

постоять несколько минут перед Вами. Не хочу обременять Вас своим присутствием, желаю только поцеловать Вашу руку и затем уйти. Меня зовут Генрих Гейне, я рейнский уроженец, недавно поселился в Геттингене, а до того жил несколько лет в Берлине, где был знаком со многими из Ваших старых знакомых и почитателей и научался с каждым днем все больше любить Вас. Я тоже поэт и имел смелость три года назад послать Вам мои „Gedichte“, а полтора года назад – трагедии с добавлением „Lyrisches Intermezzo“. Кроме того, я болен, для поправления здоровья совершил путешествие на Гарц, и там, на Брокене, охватило меня желание – сходить в Веймар на поклонение Гёте. Я явился сюда как пилигрим в полном смысле этого слова – именно пешком и в изношенной одежде – и ожидаю исполнения моей просьбы. Остаюсь с пламенным сочувствием и преданностью, Генрих Гейне».

Гёте принял молодого писателя – что он делал весьма редко; но судя по тому, что непосредственно после этого посещения Гейне в своих письмах или ничего не говорил о нем, или упоминал в двух-трех словах, или, говоря о Гёте вообще по поводу этого визита, отзывался о нем как о поэте не особенно благосклонно, – судя по этому, надо думать, что «олимпиец» принял геттингенского студента со свойственною ему и естественною в нем величественностью, хотя, признаться, такой прием удивляет нас, когда мы примем в соображение, что у Гёте в это время уже давно были в руках такие стихотворения нашего поэта, как «Lyrisches Intermezzo». Он, по словам Гейне в одном письме, «сказал ему много приветливого и снисходительного», но, во-первых, полагаем, это-то «снисходительное» отношение и сердило автора «Intermezzo», а во-вторых – если бы было сказано действительно «много приветливого», то Гейне, при его самолюбии, при его гордости собой, конечно, передал бы весь разговор с мельчайшими подробностями. Он же из этого разговора передает – и с видимою горечью – только одно: что он собирался сказать Гёте много «возвышенного и глубокомысленного» и нашелся сказать только одно, что «на дороге между Йеною и Веймаром сливы очень вкусны». Очевидно, что это в рассказе Гейне выдумка ради остроты, но очевидно также, что тут скрывается и неприятная для нашего поэта действительность. Правда, в записках брата Гейне, Максимилиана, находим такой рассказ о свидании двух поэтов, который, если верить ему – а поверить нетрудно – объясняет причину не особенно лестного приема со стороны Гёте. «Чем вы занимаетесь в настоящее время?» – спросил будто бы Гёте. «Фаустом», – отвечал Гейне, у которого действительно в это время

был в голове план трагедии о Фаусте. Понятно, что такой смелый ответ мог показаться автору настоящего, бессмертного «Фауста» даже дерзким. «Гёте, – рассказывает брат нашего поэта, – был поражен и острым тоном спросил: „Других дел у вас в Веймаре нет, господин Гейне?“ Гейне же ответил: „Переступив порог Вашего Превосходительства, я покончил в Веймаре все свои дела“, – и удалился». Мы имеем однако и другого рода свидетельство о впечатлении, произведенном Гёте на его молодого гостя, – свидетельство это исходит от того же самого Генриха Гейне, которого мы только что видели таким ироническим. Восемь лет спустя, вспоминая об этом веймарском свидании, он писал:

«Его наружность была так же значительна, как слово, живущее в его произведениях, и фигура его была так же гармонична, светла, радостна, благородна, пропорциональна, и на нем, как на античной статуе, можно было изучать греческое искусство. Глаза его были спокойны, как глаза божества… Время покрыло, правда, и его голову снегом, но не могло склонить ее. Он продолжал носить ее гордо и высоко, и когда он говорил, то казалось, что ему дана возможность пальцем указывать звездам на небе путь, которым они должны следовать. На его губах иные находят холодные черты эгоизма; но и этот эгоизм свойствен вечным богам и даже отцу богов – великому Юпитеру. Право, когда я посетил его в Веймаре и стоял перед ним, то невольно смотрел вбок – не увижу ли подле него орла с молниями в клюве. Я был готов даже заговорить с ним по-гречески…» [3]

Путешествие это, которому мы обязаны лучшими страницами в «Путевых картинах», то есть лучшим, что вышло из-под пера Гейне в прозе, – сам поэт называл очень спасительным для себя, сильно укрепившим его, хотя тут же замечал, что испытывавшиеся им наслаждения отравлялись следовавшею за ним в виде призрака юриспруденциею и все теми же денежными заботами и затруднениями. Но в том же письме к другу, где говорит он об этих впечатлениях, находим и такие слова: «Кроме того (то есть кроме материальных забот), в настоящую минуту я не возбуждаю особенного энтузиазма; я не настолько глуп, чтобы скрывать это от себя, и очень хорошо понимаю причину разных пожатий плеч, покачиваний головы. Словом, меня считают обанкротившимся, и я не обвиняю ни одного разумного купца, который не делает мне кредита…»

Мы не знаем, на каком основании говорилось все это, ибо в ту пору литературное положение Гейне в лучшей части критики и публики было блистательное; вероятно, тут играло роль общее раздражение, при котором молодому поэту казалось, что его

недостаточно ценят, тем более что он сам признавал себя далеко не «обанкротившимся» в умственном и поэтическом отношениях. «Не знаю, – писал он Мозеру, – имеют ли право наши эстеты видеть во мне уже угасшую свечу… Более чем когда-либо ощущаю я в себе присутствие божества…» И он имел фактическое право говорить это, потому что, кроме значительного числа прекраснейших стихотворений, лежавших еще в его портфеле и написанных после «Intermezzo», создавались им и другие, более крупные вещи: так, к этому именно времени относится начало его романа «Бахарахский раввин», которое, к сожалению, так и осталось только началом.

Но все это делалось в те часы, когда поэт мог отрывать себя от обязательных юридических занятий. Время экзамена приближалось. Весною 1825 года это важное событие совершилось, экзамен был с грехом пополам выдержан, и 20 июля, после защиты диссертации, автор «Альманзора» и «Ратклифа» был возведен Геттингенским университетским советом в степень доктора юридических наук (третьего разряда). Но ровно за месяц до этого произошло другое событие – гораздо более важное, одно из тех в жизни Гейне, перед которым с глубоким изумлением, и притом изумлением не особенно приятного характера, останавливается биограф, – одно из тех, где противоречивость в натуре и характере Гейне, странная шаткость многих мнений его и взглядов является в полном блеске, если уместно здесь это слово. Мы говорим о переходе его в христианство, и именно в лютеранское исповедание, совершившемся 28 июня 1825 года. Тот самый человек, который еще недавно и письменно, и словесно, и в печатных произведениях («Альманзор») громил евреев, менявших из-за личных выгод религию, который за год до того писал своему другу Мозеру: «Я считал бы ниже своего достоинства и пятном для своей чести, если бы позволил себе выкреститься только для того, чтобы получить должность в Пруссии», – этот самый человек крестился исключительно с этою практическою целью, потому что видел невозможность добиться чего-нибудь «служебного», то есть более или менее прочно обеспечивающего существование, без перехода в христианство. Слабыми, не выдерживающими строгой моральной и логической критики представляются нам ссылки поэта в этом случае на то, что «метрическое свидетельство о крещении представляет собою билет для входа в европейскую культуру», то есть, другими словами, что крестится он для того, чтобы вступить в эту, закрытую для его единоверцев, культурную область; несостоятельным находим мы и объяснение, что нет у него достаточно сил для того, чтобы слушать, как его называют и

будут называть жидом; натянутым кажется нам и замечание одного из его биографов, что «независимо от личной выгоды, которую надеялся приобрести Гейне переходом в христианство, он сделал этот шаг еще потому, что познал, будто культура и литература его времени – христианские, и притом протестантски-христианские, и чувствовал себя сыном и апостолом их». Такая личность, как Гейне, не нуждалась ни в каком «билете для входа» в ту культуру, где ему самому суждено было сделаться не простым участником общего движения, а мощным руководителем его, – сознание чего притом было сильно в нем уже в эти ранние годы; такой личности, как Гейне, который, сверх того, постоянно заявлял о своем презрении к «черни», к массе, нечего было бояться и вздорных насмешек над его «жидовством», которые, к тому же, исходили бы только от невежественного, обскурантного меньшинства и уж нисколько не мешали бы ему быть «сыном и апостолом» христианской культуры, как выразился о нем – и совершенно справедливо – только что упомянутый биограф. Гораздо проще и искреннее, к сожалению, то объяснение, которое давал выкрестившийся Гейне, когда писал своему другу Мозеру:

«Я очень хорошо понимаю слова псалмопевца: „Господи! Дай мне насущный хлеб, дабы я не позорил Твое святое Имя!“ Весьма фатально, что во мне весь человек управляется бюджетом! На мои принципы отсутствие или изобилие денег не имеет ни малейшего влияния, но на мои поступки оно влияет тем сильнее. Да, великий Мозер, Генрих Гейне очень мал… Это не шутка, это мое серьезнейшее, исполненное самого сильного негодования убеждение. Не могу достаточно часто повторять тебе это, чтобы ты не мерил меня масштабом твоей собственной великой души. Моя душа – гумиластиковая, она часто растягивается до бесконечности и часто стягивается до крошечных размеров…»

Столько же искреннего и горького самобичевания в юмористических словах другого письма тому же Мозеру: «Мне было бы очень прискорбно, если бы мое свидетельство о крещении могло представиться тебе в благоприятном свете. Уверяю тебя, что, будь законами дозволено красть серебряные ложки, я бы не выкрестился…» Правда, у нас есть несомненные доказательства – и со стороны самого поэта, и со стороны других, – что этот шаг был сделан им после долговременной и тяжелой внутренней борьбы; но тем не менее он был сделан – и это без малейшего внутреннего убеждения или духовного побуждения (при существовании которых мы, конечно, не стали бы обвинять его), а исключительно в соображениях практического свойства. Но и тут возникает вопрос: да для чего же было Гейне, с теми литературными сокровищами, которые он носил в себе,

задумываться о приобретении себе прочного служебного положения! Как мог он, едва только вступивший на литературную дорогу, и вступивший на нее так блистательно, уже теперь предвидеть, что она не даст ему достаточных средств к существованию, и предусмотрительно стараться заменить их другими?

Так или иначе, а первое вступление нашего поэта на житейский путь уже самостоятельным человеком сопровождалось так называемым фальшивым шагом, в котором ему, впрочем, как и следовало ожидать, пришлось вскоре раскаяться, – раскаяться и по тяжелым внутренним ощущениям, вызванным в нем этим поступком, и ввиду непрактичности его. Что касается первых, то он, конечно, был вполне искренен, когда писал, что в душе его «вновь возгорелась междоусобная война, все чувства возмущены – за меня, против меня, против всего света…» А в непрактичности своего поступка – по крайней мере покамест – начинал он убеждаться уже теперь, судя по таким, например, словам в одном из его писем: «Не глупо ли? Едва я выкрестился – меня ругают как еврея… Я ненавидим теперь одинаково евреями и христианами. Очень раскаиваюсь, что выкрестился: мне от этого не только не стало лучше жить, но напротив того – с тех пор нет у меня ничего, кроме неприятности и несчастия». И это убеждение в том, что и с практической стороны он ошибся, еще более раздражало его.

Глава IV. Литературная деятельность до отъезда в Париж

Нордерней и море. – Интриги против Гейне перед Соломоном. – Первые два тома «Путевых картин» и запрещение их во многих германских государствах. – Поездка в Англию. – «Книга песен». – Гейне – редактор политической газеты. – Искание университетской кафедры. – Путешествие по Италии. – Третий том «Путевых картин» и история с графом Шатеном. – Июльская революция. – Отъезд в Париж.

Через месяц по окончании курса мы находим Гейне в Нордернее, куда он благодаря поддержке дяди поехал для укрепления здоровья, и если мы упоминаем об этой поездке, нисколько не важной в фактическом отношении, то потому, что она еще более сблизила поэта с морем и дала ему новый материал для поэтического творчества. Здесь волны, «журча, рассказывали поэту много чудных повестей, лепетали много слов, с которыми связаны дорогие воспоминания, много имен, отзывающихся сладостным предчувствием в сердце»; здесь слышал он разные морские преданья и легенды, которыми потом чудесно воспользовался в своих стихах; отсюда писал он такие, например, строки: «Часто мне думается, что море – сама душа моя; и как в море есть скрытые водяные растения, которые лишь в минуту расцветанья всплывают на его поверхность и в минуту отцветанья опять погружаются на дно, так порой и из глубины души моей всплывают чудные цветы, и благоухают, и блещут, и снова исчезают»; тут создавались и восторженные гимны морю, и необычайно сильные картины бури, и песни любви, в которых говорил поэт о сходстве между его сердцем и этим необъятным морем с раскинувшимся над ним необъятным небом, и звуки мировой скорби юноши, который, стоя на пустынном берегу, с тревогой в груди, с сомнением в голосе мрачно говорит волнам: «О, разрешите мне, волны, загадку жизни – древнюю, полную муки загадку!..» И многое еще, или находившееся в непосредственной, правильной связи с окружавшею поэта природою, или выражавшее другие впечатления, другие чувства, другие мысли – только все на фоне этого моря, этого неба, этой грандиозной пустыни…

Пребывание поэта в такой обстановке было, однако, недолговременным; она очень скоро сменилась весьма прозаичным и ненавистным для него Гамбургом. Сюда поехал он, чтобы вступить на «практическую» житейскую дорогу, которая все

продолжала ему казаться необходимою для его существования, здесь проводил он день за днем, месяц за месяцем, несмотря на ненавистную гамбургскую обстановку и на неприятности, которые, судя, по крайней мере, по его же письмам, окружали его со всех сторон и состояли все в том же «проклятом» денежном вопросе. Благодаря этому-то последнему он и сидел в гамбургской грязи – вследствие чего мы относимся довольно холодно к тем жалобам и иеремиадам, которыми наполнены относящиеся именно к этому времени письма его: нельзя нам скорбеть, когда такой человек, как Гейне, в самом расцвете своего таланта переносит разные унижения, играет плачевную роль нуждающегося просителя, несмотря на выказываемую гордость, сердится и стонет – вместо того, чтобы с действительною гордостью, действительным, а не словесным только и письменным презрением кинуть все это и уйти и жить хоть кое-как, хоть в нужде, но собственными ресурсами, – ресурсами своего ума, своего гениального таланта, своих знаний. Если скорбим мы в этом случае, то от другой причины: оттого что здесь пред нами пример – далеко не первый и далеко не последний – присутствия странных, непостижимо мелочных и печальных черт наряду с самыми высокими проявлениями человеческого духа. Неприятности, о которых идет речь, состояли в противодействиях, оказывавшихся враждебными ему по разным причинам людьми, его стараниям добыть себе возможно большее обеспечение со стороны богатого дяди – что и составляло главную цель его пребывания в Гамбурге. Если верить его собственным показаниям, эти люди, между которыми были и близкие его родственники, всячески клеветали на него теперь, как и прежде, перед старым миллионером, выставляли его в глазах Соломона не только лентяем, но и пьяницей, игроком, развратником, для чего, впрочем, они находили основание в тех далеко не нравственных наслаждениях, которым не переставал предаваться чувственный поэт. И, по-видимому, нашептыванья эти не отталкивались с презрением и недоверием, а напротив: «В доме моего дяди, – писал Гейне, – самые заклятые враги моей славы пользовались всегда радушным приемом; тут искони господствовала aria cattiva, отравлявшая мое доброе имя, и всякую тварь, которая грызла это имя, встречали здесь как нельзя более ласково…»

Как всегда, однако, Гейне искупал, стушевывал более или менее неблаговидные, мелочные стороны в своем личном характере и образе действия тоже более или менее великими поэтическими подвигами. Так было и теперь. В том самом 1826 году, когда мы видим его в таком странном и незавидном свете в Гамбурге, выпускает он первый том своих «Путевых картин»,

заключавший в себе «Путешествие на Гарц», цикл стихотворений «Возвращение на родину» («Die Heimkehr»), первую часть цикла «Северное море» и несколько отдельных стихотворений. Почти все это уже появлялось в журналах, но теперь многое вышло в совсем переработанном виде. Невелик был гонорар, полученный автором от издателя Кампе, – издателя еще самого образованного и щедрого в ту пору: всего 50 луидоров за первое и все последующие издания!

Юлиус Кампе.

Но тем сильнее было действие, произведенное на читателя новой книгой, особенно «Путешествием на Гарц». Такой высокой поэзии в форме прозы, такого блестящего и оригинального стиля, такого соединения вдохновенной лирики, вызывающего неудержимый смех юмора, беспощадной сатиры на лица и вещи, – сатиры, сила которой увеличивалась истинно необычайным остроумием, такого слития воедино ума и сердца, фантазии и реализма в самом буквальном значении этого слова, жизнерадостного чувства и мировой скорби – всего этого еще никогда не видела немецкая читающая публика, да не только немецкая, но и вообще европейская. А наряду с этими

страницами стояли чудесные картины «Северного моря», байронически-гейневские звуки таких стихотворений, как «Сумерки богов» или «Ратклиф», сокровища чистейшей лирики в цикле «Возвращение на родину»… И если самые серьезные критики-эстеты, находя, правда, в этих произведениях резкое нарушение чисто эстетических законов, тоже невольно поддавались обаянию этой поэтической оригинальности и новизны, то какое же действие должна была производить эта книга на массу читателей, особенно на молодое поколение? Независимо от достоинств чисто поэтических, пульс современной жизни, пульс девятнадцатого века так сильно бился в каждом слове молодого поэта, что нисколько не удивительно, если он сразу сделался знаменосцем и герольдом нового поколения и если будущая «Молодая Германия» уже теперь начинала примыкать к нему. Но именно поэтому, в соединении с личною и общественною сатирою «Путевых картин», книга заставила забить тревогу в противоположном лагере: прежде всех откликнулся жестоко заклейменный здесь, снискавший этим себе бессмертие Геттинген: «Путевые картины» были запрещены в нем, за ним последовали и многие другие города Германии, ибо сатира задевала далеко не одних геттингенцев. Не было недостатка и в частных преследованиях и нападениях со стороны как литературных завистников или ограниченно близоруких критиков, так и людей, которые узнавали себя – основательно или неосновательно – в некоторых личностях, выведенных автором. При подозрительности, которою всегда страдал Гейне благодаря своей всегда раздраженной, всегда впечатлительной фантазии, при его трусости в личных связях, странно противоречившей безмерной отваге в печатном слове, при его уже теперь значительной, а потом принявшей сильные размеры склонности видеть всюду там, где их не было, врагов, тайные козни преследователей и тому подобное, – при всех этих условиях неудивительно, что все мало-мальски враждебное в настоящем случае, то есть после появления его книги, действовало на него раздражающим, волнующим, даже пугающим образом. Уже известное нам свойство его – обращать узко личные и часто мелкие невзгоды в поводы к взрыву тяжелых чувств и ощущений более глубокого свойства – было причиною того, что и в настоящем случае он опять пришел к решению оставить отечество, стараясь уверить себя и других, что в этом решении играли главную роль «не столько страсть к блужданию по свету, сколько мучительные личные обстоятельства, например ничем не смываемое еврейство…» Ехать он хотел и теперь туда, куда постоянно тянуло его, то есть в Париж, причем целью его было,

по крайней мере в настоящую минуту, «в Париже ходить в библиотеки, видеть свет и людей и собирать материалы для книги, которая будет европейской книгой». Правда, это не мешало ему почти в то же время продолжать искать службы в том же «немецком отечестве», хотя как смягчающее обстоятельство надо принять во внимание то, что добивался он профессуры в Берлинском университете и даже надеялся на осуществление своих хлопот в то самое время, как совершал новый литературный «подвиг», и притом такой, который закрывал для него, еще больше, чем прежде, всякие служебные пути. Мы говорим о втором томе «Путевых картин», цель издания которого автор так объяснял в одном из писем своих к Варнхагену: «В это вялое, рабское время надо было чему-нибудь совершиться. Я, со своей стороны, сделал свое – и стыжу тех жестокосердечных друзей моих, которые хотели сделать так много и теперь молчат. Когда войско в полном сборе, тогда и самые трусливые рекруты очень бодры и храбры; но истинную отвагу обнаруживает тот, кто стоит на поле битвы один». А в предисловии к французскому переводу «Путевых картин», уже в 1834 году, находим такие объяснительные строки: «Эта книга, за исключением нескольких страниц, написана до июльской революции. В то время политический гнет сковал всю Германию безмолвием; умы впали в летаргию от отчаяния, и если кто отваживался тогда говорить, то должен был выражаться тем страстнее, чем сильнее он отчаивался в победе свободы и чем озлобленнее выступала против него враждебная партия…» Второй том заключал в себе остальные части цикла «Северное море» и «Книгу Ле-Гран»; и имея главным образом в виду эту последнюю, автор уже до появления ее заявлял, что в ней высказывались великие мировые интересы. «Ты увидишь, – писал он другу, – le petit homme vit encore. Наполеон и французская революция стоят там во весь рост…» Этими словами действительно почти исчерпывалось политическое содержание и значение «Книги Ле-Гран», находя себе неподражаемое в поэтическом отношении дополнение в остальных ее страницах, верную характеристику которых, как и всего вообще произведения, мы находим в следующих словах одного из критиков:

«Гейне создал здесь совершенно новый жанр, сатирически-поэтическое capriccio, в котором он навсегда так и остался недостижимым, – может быть, уже потому, что ему, как совершенно специфической форме гейневского духа, никогда никто и не пытался подражать. Только такая субъективность, как субъективность Гейне, наделенная таким богатством столь противоречащих друг другу и всегда однако блистательных

качеств, могла создать такое изумительное целое в этом постоянном чередовании серьезности и юмора, поэтического и сатирического настроения. Все, что только лежало в натуре этого писателя – фантазия и остроумие, насмешка и восторженное сочувствие, романтизм и реализм, сентиментальность и цинизм, меланхолия и через край брызжущее чувство жизни, самая грациозная задушевность и самый разнузданный гротеск, тщеславное, „мироскорбное“ созерцание и детская наивность, – все это помогло произвести целое, которого единство, полное противоречий, замечается только в субъективности автора, дразнящей нас личиною реальной действительности, чтобы каждый раз после этого прятаться под покровом пестрой фантазии…»

Этот второй том «Путевых картин» – как проза, так и стихи – произвел на читающую публику и на критику еще более сильное воздействие, чем первый, и, само собой разумеется, в двух видах: между тем как одни прославляли «необыкновенную смелость, даже геройскую отвагу», которую проявил здесь автор, выступивший против испорченного дворянства, клерикалов и общего лицемерия этой эпохи, другие или изливали свое негодование по поводу попирания автором всех традиционных законов эстетики, или обвиняли его в отсутствии патриотизма и национального чувства, сказавшемся как в сатире на немцев, так и в возвеличивании Наполеона (истинный смысл чего ускользал от этих близоруких людей) и французской революции.

Давно уже, при мертвенности и затхлости современной немецкой литературы, книга не вызывала такого волнения во всех лагерях. «Много, много шуму производит Ваша книга, – писал Варнхаген к Гейне, – но читатели в недоумении и колебании: они не знают, не следует ли им держать ощущаемое ими удовольствие в тайне, а гласно отрицать его; даже друзья Ваши страшно добродетельно притворяются жаждущими порядка и миролюбивыми учеными и гражданами; одним словом, страха ради рабского все предается порицанию». Этот «рабский страх» был вызван положением, которое приняло немецкое правительство относительно второго тома «Путевых картин»: теперь дело не ограничилось уже Геттингеном и несколькими другими немецкими городами, книга подверглась запрещению в Ганновере, Пруссии, Австрии, Мекленбурге и большинстве мелких государств, да и сама личность поэта была, по-видимому, признана в некоторых местностях небезопасною для государственного порядка (!).

Ввиду такого необычайного воздействия книги, Гейне как по убеждению, так и по тщеславному славолюбию, то есть по тем

стимулам, которые были одинаково сильны в нем, почувствовал себя призванным к роли не поэта, для которого дороги также и интересы чистого искусства, а писателя политического.

«Этим сочинением, – писал он другу, – я приобрел себе в Германии множество приверженцев и громадную популярность; если буду здоров, то могу теперь сделать много; у меня теперь далеко разносящийся голос. Ты еще часто услышишь его гремящим против палачей мысли и попирателей священнейших прав. Я получу совершенно экстраординарную профессуру в университете высоких умов…»

Но в то же время личная безопасность благоразумно требовала принятия мер предосторожности, и поэтому Гейне, тотчас по выпуске второго тома, поехал на время в Лондон, чтобы там выждать, какие физические результаты повлечет за собою это издание. «Не боязнь заставила меня уехать, – писал он, – а просто закон благоразумия, советующий каждому ничем не рисковать там, где нельзя ничего выиграть». Но в Англию влекло его еще и другое существенное обстоятельство: ему хотелось лично ознакомиться с государственной жизнью, имеющей вполне парламентский характер, со свободными в полном смысле этого слова политическими убеждениями, с такими великими на этом поприще деятелями, как Георг Каннинг, – со всем тем, одним словом, чего не находил он в Германии, где, напротив того, встречались ему на каждом шагу «только совы, цензурные постановления, тюремный запах, чувствительные романы, вахтпарады, ханжество и тупоумие». И если Англия вселяла ему отвращение как поэту, то вызывала его глубокое, иногда даже восторженное сочувствие в другом – политическом и социальном отношениях. Как художник до мозга костей, он выразил свое негодование на Англию в словах: «Что за противнейший народ, что за отвратительнейшая страна!.. Страна, которую давным-давно проглотил бы океан, если бы не побоялся расстройства желудка. Народ – серое, зевающее чудовище, которого дыхание – не что иное, как удушливый газ и смертельная скука, и который, наверное, когда-нибудь повесится на колоссальном корабельном канате!..» Но в то же самое время он, подъезжая к Лондону, завидев берег Темзы, восторженно приветствует «страну свободы, это новое солнце обновленного мира», и потом целые дни проводит в парламенте, слушая знаменитых либеральных ораторов, навеки запечатлевая в своей памяти речи Каннинга о правах народов, «те освободительные слова его, которые, как священный гром, раскатывались по всей земле и находили себе утешительный отголосок в хижине и мексиканца, и индуса…»

В самый день смерти Каннинга Гейне уехал из Англии и

после кратковременного пребывания в Нордернее вернулся опять в Гамбург. Тут он выпустил в свет полное собрание написанных им до тех пор и в значительном числе уже бывших в печати стихотворений под общим заглавием «Книга песен» и за это издание в количестве десяти тысяч экземпляров, да сверх того еще с уступкой права на все последующие, автор имел удовольствие получить всего пятьдесят луидоров!..

Buch der Lieder

von

H. Heine.

Hamburg
bei Hoffmann und Campe.
1827.

«Книга песен». Титульный лист 1-го издания.

При таких денежных ресурсах, к которым, правда, присоединялись и скупные субсидии дяди, естественно, что наш поэт принял сделанное ему известным издателем, бароном Котта, предложение – переехать в Мюнхен и там принять на себя редактирование газеты «Politische Annalen», то есть дело, для которого он пригоден был менее, чем для чего-либо.

Иоганн Фридрих фон Котта, издатель.

Кроме чисто денежных соображений, в согласии поэта и в настоящем случае играло роль еще одно обстоятельство такого же материального свойства, а именно продолжавшееся неосуществление все еще налетавшего время от времени желания поступить на прусскую государственную службу; но к этому присоединялась причина и более, так сказать, внутренняя: перспектива увидеть себя в той роли либерального публициста, народного трибуна, герольда общественного мнения, в которую он уже отчасти вошел благодаря нескольким страницам «Книги Ле-Гран» и блистательный успех которой побуждал его сменить ею роль поэта-художника.

Генрих Гейне. ***Работа Людвига Эмиля Гримма. 1827.***

В октябре 1827 года он отправился в Мюнхен и за все полугодовое время своего редакторства и одновременного с этим участия в двух других периодических изданиях того же Котты написал здесь только часть «Отрывков об Англии», одну критическую статью и одну театральную рецензию, причем тут же сказалась непригодность его для такого дела, как редактирование политической газеты, – непригодность, в которой сознавался и сам Гейне в это время, ссылаясь на отсутствие у него политических познаний, на свою стилистическую манеру, не соответствующую требованиям чисто политической газетной статьи, и тому подобное. Следовало ему сослаться и на причину более существенную: шаткость его политических взглядов и на свою крайнюю субъективность, в настоящем случае совсем неуместную; наконец, не мешало бы ему сознаться и в том не лестном для него обстоятельстве, что в то самое время, когда он, определяя *направление* своей газеты, писал Варнхагену: «Я еще молод, у меня нет еще голодающих жены и детей, поэтому я еще буду говорить свободно», – в то же самое время он не переставал заботиться и хлопотать о получении места в государственной службе, хорошо зная, что уж тогда говорить «свободно», то есть

свободно по-гейневски, будет немыслимо. Правда, предметом этих искательств была по-прежнему университетская кафедра, но это «смягчающее обстоятельство» уничтожалось странным и даже неблаговидным образом действий: потеряв надежду на получение должности в Пруссии, он направил свои искательства в сторону баварского правительства, повел газету в умеренном тоне, стал избегать почти всех мало-мальски важных и щекотливых вопросов внутренней политики и просил барона Котту, когда тот увидится с баварским королем.

«…обратить внимание Его Величества на то, что автор „Путевых картин“ сделался теперь гораздо кротче, лучше и, может быть, даже совсем иной, чем в своих прежних произведениях… Я надеюсь, – говорит он в том же письме, – что король достаточно мудр для того, чтобы судить о клинке меча по его остроте в данную минуту, а не по тому хорошему ли дурному употреблению, которое делали из него в прошедшее время…»

Когда читаешь такие вещи и вспоминаешь, что всего за год до этого тот же самый Гейне выпустил в свет второй том своих «Путевых картин» и уже носил в голове многое из того, что должно было скоро составить содержание третьего тома, гораздо более «зажигательного», чем предыдущий, когда стоишь в виду таких непостижимо противоречивых обстоятельств, то, кроме многих других вопросов, задаешь себе и такой: не происходило ли все это, как у Байрона, просто от желания мистифицировать, дурачить людей вследствие презрения к ним или не играл ли Гейне в этих случаях комедию, чтобы, притворившись раскаявшимся и до известной степени благонамеренным, добиться наконец этим путем доступа в университет, а уж там, с кафедры, начать говорить то, что считал он свои долгом пропагандировать в публике. Но, во-первых, печатное слово доставляло ему аудиторию гораздо многочисленнее той, которую он нашел бы, взойдя на университетскую кафедру; во-вторых, не мог же он не понимать, что всякое немецкое правительство видело его насквозь и не поддалось бы на его удочку, а если бы и поддалось, то очень скоро удостоверилось бы в своей ошибке и поспешило бы освободиться от неудобного профессора. И вот ввиду таких возражений самому себе, ввиду также и трудности приписать эти служебные искательства впечатлению минуты, временному капризу, так как они обратились уже в нечто постоянное, последовательное, ввиду всего вышеизложенного приходится объяснять эти не в пользу Гейне как человека говорящие обстоятельства или непостижимым совмещением в его натуре самых вопиющих противоречий и противоположностей, или просто обыкновенным, свойственным всякому ординарному

смертному желанием – получше и посолиднее устроить свое житейское положение. Хочется остановиться на первом объяснении; оно, правда, построено более на теоретическом основании, но зато опирается на многие веские обстоятельства.

Генрих Гейне. ***Портрет работы Людвига Гассена. 1828.***

Деятельность Гейне на поприще политической публицистики продолжалась на этот раз очень недолго, как мы уже упоминали – всего полгода; но что публицистическая деятельность представлялась ему и теперь весьма важною и необходимою для Германии, видно из следующих слов его письма к другу, когда, вскоре после отъезда своего из Мюнхена, он услышал, что барон Котта задумал новое периодическое издание на широких основаниях:

«Мое единственное желание, – говорит он, – заключается только в том, чтобы существовала газета для либерального образа мыслей, который в Германии имеет мало пригодных органов… Настоящее время – время идейной борьбы, и газеты – наши крепости. Я обыкновенно ленив и беспечен, но где, как в

настоящем *случае,* дело касается содействия общим интересам, там никогда не найдут меня отсутствующим…»

Редактирование «Politische Annalen», которое не прибавило ровно ничего ни к славе, ни к бесславию Гейне, он оставил одновременно с прекращением этой газеты, и так как, само собой разумеется, из его хлопот о поступлении на баварскую службу ничего не вышло, то почти немедленно после того он отправился в составлявшее давнишний предмет его желаний путешествие по Италии – посетил Верону, Бресшию, Милан, Ливорно, Лукку и Венецию, всюду наслаждался памятниками искусства, наблюдал печальное существование бедной Италии, стонавшей в то время под чужеземным игом, и в то же самое время усердно занимался прекрасными итальянками. Но от чувственных и духовных наслаждений, от наблюдений над политическою и общественною жизнью Италии Гейне оторвала смерть отца. Получив в Италии известие о тяжелой болезни старика, он поспешил в Гамбург, но не застал уже его в живых; здесь пробыл он короткое время с грустившею и находившеюся также материально в плачевном положении матерью, оплакивая вместе с нею потерю дорогого для них человека, а затем, сильно расстроенный, раздраженный, озлобленный – как это бывало с ним даже при малейшей неприятности – приехал в Берлин. Вскоре после этого вышел в свет третий том «Путевых картин», заключавший в себе «Путешествие от Мюнхена до Генуи» и «Луккские воды». Уже в Италии работал он над этим сочинением и, сообщая из Лукки Мозеру о предстоящем появлении его в печати, писал:

«В Мюнхене думают, что я не буду уже больше выступать против дворянства, потому что живу здесь в фойе знати и люблю прелестнейших аристократок, равно как и любим ими. Но они ошибаются. Моя любовь к человеческому равенству, моя ненависть к клерикализму никогда не была сильнее, чем в настоящее время, и из-за этого я становлюсь почти односторонним. Но ведь именно когда человек хочет действовать, он должен быть односторонен…»

Насколько оправдались эти слова, в третьем томе «Путевых картин» доказывается тем обстоятельством, что книга, немедленно после появления ее, была запрещена в Пруссии, и автор считал свое положение в такой мере небезопасным, что не решился оставаться в Берлине, а на время уехал в Гамбург. Сатира политическая в этом сочинении опять, как и прежде, появилась – отчасти по цензурным соображениям, отчасти в общей манере Гейне – на фоне или в рамке юмористических и сатирических изображений чисто частного характера, причем несравненное остроумие поэта представилось в новом блеске при

создании таких, например, бессмертных типов, как маркиз Гумпелино и его слуга Гиацинт. Но здесь читатели встретились и с новою особенностью автора «Путевых картин», не очень рекомендующею его с хорошей стороны, – переходившею всякие границы мстительностью в тех случаях, когда его лично слишком сильно задевали за живое. Дело в том, что еще во втором томе «Путевых картин» Гейне, в виде маленького добавления, поместил эпиграмму Иммермана на известного поэта графа Платена, осмеивавшую – впрочем, в очень невинной форме – «восточные» стихотворения графа. Платен жестоко обиделся и в своей пьесе «Романтический Эдип», направленной вообще против романтической школы, обрушился особенно резко на Иммермана и Гейне, не постыдился задеть еврейское происхождение последнего, называя его «семенем Авраама», «Петраркою праздника Кущей» и влагая в уста Иммермана (выведенного здесь под именем Ниммермана) слова: «Я его (то есть Гейне) друг, но не хотел бы быть его возлюбленною, потому что его поцелуи издают чесночный запах». Этой выходки, направленной в одно из самых больных мест нашего поэта и вообще совершенно безобразной с точки зрения и литературного приличия, и обыкновенной житейской порядочности, – этой выходки было вполне достаточно для того, чтобы вывести из себя Гейне, который и без того находился в это время в очень раздраженном нервном состоянии. Несколько страниц в «Луккских водах», посвященных исключительно Платену, показали, какие размеры могло принимать у нашего поэта чувство оскорбленного самолюбия. Литературные интересы отошли здесь на второй план; целые комья грязи – правда, грязи беспощадно-остроумной – швырнул Гейне в своего противника, с неслыханным цинизмом ворвался в его частную жизнь, выставив на позор пред всею читающею публикой даже одну противоестественную склонность Платена, о которой ходила в кружке знакомых молва, быть может, и неосновательная. Литературное нападение, одним словом, обратилось здесь в настоящий пасквиль, утратив, понятно, вследствие этого значительную часть своего действия в глазах серьезных и порядочных людей.

Мы сочли нужным остановиться на этом эпизоде для характеристики Гейне как человека, а следовательно и писателя, ибо человек и писатель были в нем неразлучны. Для пополнения этой же характеристики не мешает упомянуть о факте, относящемся тоже к платеновской истории: когда один из ближайших друзей Гейне, Мозер, выразил автору «Луккских вод» резкое порицание, тот так оскорбился, что в самых презрительных и высокомерных словах порвал узы долго связывавшей их

дружбы; это обстоятельство, заметим кстати, не помешало, однако, Гейне, уже много лет спустя, обратиться к тому же Мозеру с просьбой об одолжении ему взаймы денег в его стеснительном положении…

Выше сказано, что боязнь за личную безопасность не позволяла автору третьего тома «Путевых картин» оставаться в Берлине и что он поэтому на время поселился в Гамбурге, где жила и овдовевшая мать его. Для поправления здоровья, редко приходившего в удовлетворительное состояние, ездил он опять на Гельголанд, там отдыхал и физически и нравственно на берегу своего милого моря и писал оттуда: «Море – родственная мне стихия, и уже один вид его производит на меня целительное действие… Я желал бы, чтобы ты видел море; быть может, тогда тебе стало бы понятно то сладострастное, упоительное чувство, которое порождает во мне всякая волна. Я рыба с горячею кровью и говорливым ртом; на суше я себя чувствую, как рыба на суше…»

Пребывание его в Гельголанде совпало со взрывом июльской революции 1830 года в Париже. Полученное им здесь известие об этом событии подействовало на него так же сильно и обаятельно, как на всех единомышленников его и в Германии, и в других странах Европы. Оно представилось ему среди «царствовавшего всюду глухого спокойствия» «пронзившею небо молниею с громовыми раскатами и таким страшным треском, как будто наступал конец света», – и его письма с Гельголанда (напечатанные отчасти в «Книге о Бёрне», отчасти в собрании его писем) суть не что иное, как восторженные лирические гимны «сына революции», каким он называл здесь себя, требуя «Цветов! Цветов!», чтобы увенчать ими голову, и «Лиру, чтобы запеть боевую песнь!» Возвращение в Гамбург и столкновение с современною немецкою действительностью, с такими явлениями, например, как совершившийся в это время в Гамбурге еврейский погром, отрезвили поэта, но тем сильнее раздражали сатирика-публициста, и в этом настроении он выпустил в свет свою новую книгу «Дополнения к „Путевым картинам“» («Nachträge zu den Reisebildern»), часть которой была написана уже несколько раньше. Здесь развивались те же идеи, что и в прежних сочинениях, только теперь, по справедливому замечанию Штродтмана, «тон книги показал, что, подобно самой этой эпохе, Гейне, стремившийся понять ее жизнь в самом глубоком значении, сделался благодаря июльской революции серьезнее и стал внимательнее заниматься великими современными вопросами, которых он в прежних своих сочинениях большею частью касался только поверхностно и со смелым любопытством». Почти к тому же времени относится очень резкая и энергичная

брошюра его «Кальдорф о дворянстве»; политический интерес все более и более вторгался в творчество поэта, отодвигая на задний план собственно поэтическое творчество, а одно время и почти совсем прекратив его. Что чисто поэтический родник далеко не иссяк в сердце Гейне, что в нем оставались живы во всей их неприкосновенности те самые струны, с которых слетали звуки «Лирического интермеццо» – это ясно доказал напечатанный в 1830 году сборник прелестных стихотворений под заглавием «Новая весна» («Neuer Frühling»), где любовь, теплая вера, глубокая задушевность, тихий юмор с проблесками тут и там мировой скорби снова нашли себе в нашем поэте гениального выразителя. Но за этими стихотворениями последовало долгое молчание Гейне как поэта вообще и совершенное исчезновение его с поприща такой именно поэзии, какая явилась перед читателем в «Новой весне». Эти стихи очень хорошо сравнил один критик с последним нежным прощаньем поэта с музою его юности, в испуге убегавшею от боевого глума современной жизни, убегавшею теперь, когда период чистого искусства отживал свое время, революция вступала в умы и сердца писателей новой эпохи, и как эти писатели, так и их публика стали питать отвращение к строго замкнутой художественной форме стихотворной речи… Политическое и социальное дело в Германии продолжало, однако, совершенно вопреки надеждам, возбужденным июльскою революциею, находиться в таком положении, что могло только увеличивать мизантропию, раздражение Гейне; и это тем более, что личные невзгоды, лишения, неприятности оставались с ним неразлучны все по тем же известным нам причинам. Постепенно усиливалось в нем давнишнее желание оставить отечество и переселиться в Париж, это средоточие свободы, как он называл его; неприязнь к немецким порядкам, судя по его письмам, усиливалась в нем с каждым днем: «Против Пруссии, – писал он в это время, – я тоже очень озлоблен вследствие господствующей всюду лжи, столица которой Берлин. Тамошние либеральные тартюфы мне отвратительны. Много негодования кипит во мне…» Но тут опять пред нами факт, сбивающий с толку и того, кто безусловно верит всем объяснениям поэта, – факт именно тот, что почти в это же самое время, и немедленно после выпуска такой радикальной брошюры, как «Кальдорф о дворянстве», автор ее, этот человек, проклинавший и Пруссию, и все немецкие государства, усердно добивался получения в Гамбурге должности синдика думы! Мы готовы были бы принять это просто за остроумную выходку в гейневском духе с целью помистифицировать ненавистных его сердцу гамбуржцев и потом посмеяться над ними, если бы не

имели веского тому опровержения в письме поэта к такому серьезному и уважаемому им человеку, как Варнхаген, – письме, где Гейне просит своего друга и покровителя напечатать в газетах статью в пользу автора «Путевых картин» как будущего думского синдика, статью такую, которая «вызвала бы впечатление, что избрание Гейне в эту должность было бы дело целесообразное, важное и для публики приятное».

Но больше важности для биографии представляет заявление в другом письме, тоже к Варнхагену, где поэт писал:

«Я стремлюсь во что бы то ни стало добыть себе прочное положение (то есть служебное); не имея его, я ведь не могу ничего делать. Если не удастся мне это в непродолжительном времени в Германии, то я отправляюсь в Париж, где, к сожалению, пришлось бы мне играть такую роль, при которой все мои художнические ресурсы погибли бы и где был бы санкционирован мой разрыв с туземными властителями…»

Как ни влекло Гейне в Париж, ехал он туда все-таки с печальным сердцем, предчувствуя, что ему не вернуться на родину, в Германию. А именно разлука с нею и была главною причиною его грусти, к которой присоединилась также скорбь о разлуке с матерью, любимою сестрою и отчасти братьями. Да, как это бывает со всеми теми, которых близорукие люди и глупые шовинисты упрекают в отсутствии любви к отечеству только потому, что они гласно клеймят все отечественные язвы, Гейне, так беспощадно обрушивавшийся на Германию своей сатирой, вместе с тем глубоко любил ее, и именно в этой любви заключался источник его озлобления. И с такими разнообразными чувствами двинулся он в путь, после того как из его хлопот о думском синдикате и вообще о поступлении на службу, само собою разумеется, ничего не вышло; средства для этого переселения во Францию были даны дядею Соломоном, но даны после долгого сопротивления и, как думает один биограф, только потому, что банкира беспокоило враждебное отношение к его племяннику немецких правительств, которое, пожалуй, могло и его самого вовлечь в разные неприятности; не лишено справедливости замечание другого биографа по поводу этой вынужденной денежной поддержки со стороны богатого дяди: «Поэт не мог быть благодарным гамбургскому миллионеру за те средства, которые открыли ему дорогу от комиссионерской конторы к Боннскому и Геттингенскому университетам. Но если юноше нисколько не позорно зависеть от чужой поддержки, то для взрослого человека она редко может оставаться без ущерба для него. Уже по этой причине надо смотреть на переселение Гейне в Париж как на несчастие, ибо оно навсегда отняло у него

возможность стоять на собственных ногах». Почему и как – увидим ниже.

Г. Гейне на 30-м году жизни. ***С рисунка Ф. Куглера***

Глава V. В Париже

Парижская жизнь. – Публицистическая деятельность Гейне и отношение к нему политических партий. – Литературное посредничество между Германией и Францией. («Романтическая школа», «К истории религии и философии в Германии», «De l'Allemagne»). – Партия «Молодая Германия». – Нелады Гейне с немецкими эмигрантами. – Женитьба. – Ссора с дядей и денежные затруднения. – Субсидии от французского правительства. – Книга «О Берне». – Дуэль. – Поэма «Атта Тролль». – «Новые стихотворения» и «Зимняя сказка». – Смерть Соломона. – Гейне дает наследнику Соломона обязательство: за ежегодную пенсию не печатать ничего оскорбительного о его родственниках.

В Париж Гейне приехал в мае 1831 года. Первые впечатления Парижа были таковы, что ими естественно изглаживались всякие тяжелые чувства, всякие грустные воспоминания и соображения. Веселость и живость населения, обходительность мужчин, грация женщин – все это обаятельно действует на немецкого поэта; он находит, что «этот парижский воздух исцеляет всякие раны быстрее, чем где бы то ни было», что в высшей степени благотворно влияет этот «сладостный ананасный аромат вежливости» на его душу, «больную душу, которая в Германии глотала столько табачного дыму, запаха кислой капусты и грубости». Первые месяцы его пребывания в Париже мы видим его усердно посещающим театры, увеселительные заведения, женщин полусвета, и какое удовольствие доставляет ему этот образ жизни, видно из слов его письма: «Если кто-нибудь спросит вас, как мне здесь живется, скажите: как рыбе в воде, или, вернее, скажите, что когда в море одна рыба спрашивает другую, как она поживает, та отвечает: как Гейне в Париже». В то же самое время он вращался и в другого рода обществе: благодаря рекомендательным письмам дяди он сделался вхож в дом Ротшильда и в салонах знаменитого миллионера, равно как и на вечерах других парижских светил, познакомился и более или менее близко сошелся с такими людьми, как Россини, Берлиоз, Шопен, Лист, Александр Гумбольдт, вожди партии сенсимонистов и между ними Анфантен и многие другие… Уже из факта общения с подобными личностями видно – да это, конечно, и совершенно естественно, – что чисто житейские, не духовные интересы, далеко не были исключительным предметом увлечения и внимания нашего поэта. Если он с таким наслаждением вдыхал «сладостный ананасный аромат» парижской общественности, то

не менее отрадно дышалось ему в политической атмосфере июльской монархии, когда «лучи июльского солнца (то есть революции предшествовавшего года) сверкали еще тут и там, щеки прекрасной Лютеции были еще румяны от пламенных поцелуев этого солнца, и на ее груди еще не совсем завял букет невесты…» И если Париж пленял его и втягивал в себя как средоточие шумной веселости, пользования всяческими материальными благами, то в то же самое время в этом городе он видел «столицу не только Франции, но и всего цивилизованного мира», где «собрано все, что велико любовью или ненавистью, чувством или мышлением, удачею или способностями, будущим или прошедшим».

Генрих Гейне. ***Работа Морица Оппенгейма. 1831.***

Немного освоившись с парижской жизнью, очнувшись от нахлынувших волною первых и самых разнообразных впечатлений, Гейне принялся за работу. Уже задолго до переселения в столицу Франции, еще только думая об этом и лелея эту мечту, он, в числе других причудливых планов, намеревался посвятить себя здесь дипломатической карьере. Помышлял он осуществить это намерение и теперь, но вскоре оставил его: вероятно, понял и сам всю комическую чудовищность появления такой личности, как он, в роли осторожного, ловкого, применяющегося ко всяким положениям дипломата. В литературных работах своих Гейне, однако, и здесь пошел по той дороге, которая так заманчиво улыбнулась ему в Германии, только теперь они приняли уже чисто специальный характер – статей почти исключительно политического содержания, и притом по определенным современным вопросам. За эту работу он взялся, впрочем, тогда, когда хорошо прозондировал политическую почву Франции, ознакомился близко и подробно с ходом вещей, партиями, отдельными личностями. До тех пор литературная деятельность его вращалась некоторое время в области чистого искусства: он писал в газету Котты «Morgenblatt» корреспонденции о художественной выставке того года, – корреспонденции, в которых, при отсутствии у автора всяких технических сведений, обнаруживалось, однако, глубокое эстетическое чутье и которые не ограничивались обсуждением достоинства выставленных картинок, а захватывали предмет гораздо глубже, касаясь таких, например, вопросов, как влияние социального положения страны на развитие искусства. Этого рода занятие продолжалось недолго. Когда редакция очень распространенной и наиболее либеральной немецкой газеты «Allgemeine Zeitung» предложила автору «Путевых картин» присылать ей из Парижа корреспонденции политического характера, он с радостью согласился и, видя теперь в себе избранного судьбою посредника между Германией и Францией, поставил себе задачею то, что он считал выпавшею на его долю особой миссией – содействовать литературным путем великому делу братского объединения двух этих стран, уничтожению взаимных национальных предрассудков. Эту задачу начал он исполнять, стоя на почве современной французской действительности, с постоянными указаниями и намеками на Германию; его целью было выяснить понимание настоящего, и он желал «всегда оставаться достойным ненависти своих врагов». С этих пор, и довольно продолжительное время, мы имеем дело с

Гейне только как с писателем политическим, публицистом. Не касаясь содержания его корреспонденции, так как это заняло бы слишком много места, заметим только, что они охватывали все мало-мальски выдававшееся в политической жизни Франции и что все выходившее из-под пера знаменитого корреспондента аугсбургской газеты обращало на себя общее внимание, производило одинаково сильное впечатление на все политические партии. Но благодаря тому что Гейне-публицист, оставаясь неизменно верным своим основным принципам, в обсуждении частностей слишком поддавался впечатлениям данной минуты, слишком подчинялся собственной субъективности и давал этим беспрестанные поводы обвинять его в шаткости политических убеждений, – благодаря этому положение его относительно политических различных партий было очень странное: сегодня орлеанисты обвиняли его в нападках на кабинет и правление Луи-Филиппа, завтра они приветствовали его как защитника их лагеря; сегодня умеренные либералы находили, что он хорошо служит их делу, завтра они открывали в нем сочувствие к ультрареволюционным принципам и негодовали против него; а ультрареволюционная партия, со своей стороны, считая его сегодня совсем своим человеком, завтра вдруг замечала в той или другой статье его, том или другом слове умеренно-либеральное воззрение и старалась склонить его к полному разладу с этою партией. К французам присоединялись и немцы: скопившиеся в это время в Париже немецкие эмигранты, большинство которых состояло из ремесленников и людей самого якобинского пошиба, требовали устами своих вожаков, чтобы этот Гейне, время от времени появлявшийся в печати настоящим революционером, был таковым и на деле, то есть братался с ними, участвовал на их сходках и так далее, в противном случае в нем заподозрят тайного agent-provocateur'a австрийского правительства и заставят отказаться от роли народного трибуна! Все это, при известной уже нам мнительности и боязливой подозрительности Гейне, истекавшей также и из слишком преувеличенного мнения его о революционном значении своих произведений, поддерживало поэта в постоянно тревожном состоянии по отношению к этим партиям, особенно к немецкому и французскому правительствам: беспрерывно видел он себя окруженным шпионами, беспрерывно боялся, что его или арестуют, как это делалось со многими политическими беглецами, дата вышлют из Франции по требованию французского посольства, и в подобных страхах доходил до такого комизма, что квартира его была известна только двум-

трем ближайшим друзьям… Правительства, впрочем, действительно не дремали – особенно австрийское, в лице Меттерниха и Генца, несмотря на относительно умеренный – по цензурным соображениям – тон корреспонденции Гейне. Выступить прямо и открыто против этого, казавшегося им опасным, врага, оно не желало, и потому начало действовать тайно – но не на автора корреспонденции, зная, что с ним не справиться, а на издателя газеты. И старания руководителей австрийской политики не остались бесплодными: Котта, которого Генц титуловал своим «благородным другом», скоро прекратил печатание «дерзких и злобных, ядовитых и разнузданных» писем Гейне. Но автор их был не такой человек, чтобы покорно и скромно ретироваться: все свои корреспонденции он собрал в отдельную книгу («Французские дела»), включив сюда и все то, что в газете было исключено, и главное – снабдив ее таким резким предисловием, которое уже навсегда уничтожило для него возможность возвращения в отечество.

Была тут, как большею частью у Гейне, причина и частная, личная: предисловием этим хотел он доказать нелепость клеветы его врагов, которые, пользуясь изменчивостью в его частных политических воззрениях, клеймили его как «продажного негодяя»…

Действительно, надо было страдать полным отсутствием здравого смысла и малейшей добросовестности, чтобы и после появления этой книги позволять себе усматривать в литературных действиях Гейне что-либо, хоть издалека похожее на отступничество от своих основных убеждений, тем более из-за какого-нибудь материального интереса. Но автору пришлось испытать теперь самым печальным и тяжелым для него образом то, что мы видели уже в значительной степени выпадавшим на его долю и в начале его публицистической деятельности: разнообразие вызывавшихся этою деятельностью впечатлений, вследствие отсутствия в нем как в поэте par excellence, чисто публицистической стойкости и последовательности. В то самое время как его последнее сочинение подверглось строгому запрещению почти во всех немецких государствах, на него обрушивались нападения из лагеря совершенно противоположного: радикализм в лице Бёрне резко обвинял поэта-публициста в шаткости и двусмысленности образа действий – в том, что он не хотел окончательно поссориться ни с правительством и аристократами, ни с ультрареспубликанской партией разрушения. Видя странность и неприятность своего положения, сжатый со всех сторон, убедившись, что он как поэт и художник не может совершенно и бесповоротно принадлежать к

той или другой *партии,* тогда как все теперь было делом именно партий, – Гейне решился отказаться покамест от политического писательства. К счастью для литературы, этот род деятельности заменил он таким, который гораздо более соответствовал его способностям, его натуре, его знаниям: продолжая исполнять свою «миссию» посредника между Германией и Францией, он только перенес эту работу в другую область – литературную, философскую и социальную в широком значении этого слова, занялся истолкованием во Франции сущности и особенностей немецкого «духа». Так как, понятно, Гейне при этом писал для читателей почти исключительно французских, то статьи свои он писал по-французски. Некоторые из них переводились потом автором и на немецкий язык.

Таким образом возникли, сопровождаясь постоянным и очень видным успехом во французской публике и критике, «Романтическая школа», «К истории религии и философии в Германии», «De 1'Allemagne» и другие сочинения. Все эти страницы представляют автора в виде умного, острого, высокоталантливого дилетанта; но над этою легкой формой, при обилии самых смелых парадоксов, софизмов и т. п., наконец даже при встречающемся не раз принесении правды в жертву неодолимого желания сказать острое слово, несмотря на все это, здесь сплошь и рядом обнаруживается такое проникновение в самую суть вещей, такое глубокое понимание предмета не с внешней, а с духовной его стороны, каких можно пожелать любому исследователю-специалисту, и все выражено в такой простой, увлекательно-ясной форме, что самые мудреные вещи становятся совершенно понятными для непосвященного читателя. Никто, например, из предшествовавших и последующих критиков и историков литературы не превзошел Гейне в исследовании той «Романтической школы», которой он и сам был гениальным представителем и победоносным сокрушителем; у других исследователей мы найдем превосходство стороны фактической, выяснение многих частностей, гораздо более научную подкладку, но ни один из них не сделал того, что нагл поэт – для объяснения сущности немецкого романтизма и отличительных черт поэтического творчества главных его представителей. Большими достоинствами, при тех же вышеупомянутых недостатках, отличается и сочинение «К истории религии и философии», посвященное Анфантену, главному деятелю сенсимонизма, из чего уже отчасти можно заключить о направленности и характере книги. Смена одного религиозного воззрения другим (деизм, пантеизм, христианство), возникновение немецкой философии из протестантства, деятельность Лютера, Лессинга, Канта, Фихте,

Шеллинга и Гегеля – все это представлено с удивительной ясностью, свежестью и оригинальностью и все свидетельствует о полном, даже глубоком знакомстве автора с предметом, хотя, конечно, и здесь строго научный исследователь, особенно если он проникнут кабинетным педантизмом, найдет многое, что покажется ему поверхностным, больше остроумным, чем солидным, больше парадоксальным, чем категорически неопровержимым. Само собой разумеется, что Гейне тесно связывает философию с жизнью, в развитии философских идей видит и развитие дела практического прогресса, и с этой точки зрения выходит его восторженное сочувствие Лютеру и Лессингу как «освободителям» отечества; в этом смысле он называет Канта «Робеспьером в царстве мысли», в этом смысле и обращается к французам со словами предостережения: «Освобожденной Германии вам следует бояться больше, чем всего Священного Союза, со всеми кроатами и казаками». Эти статьи, появлявшиеся сначала в журнале, были потом включены вместе с «Романтической школой» в книгу под заглавием «De l'Allemagne», которую Гейне написал как своего рода возражение против сочинения мадам Сталь под тем же заглавием, с целью исправить многие ее ошибки и пристрастные суждения. Здесь мы опять встречаемся с теми же религиозными и социальными воззрениями, какие высказывал автор в предшествующих трудах и выраженными в такой форме, что эта книга подверглась запрещению почти во всех немецких государствах; а когда был сделан немецкий перевод ее, цензура обезобразила текст самым безжалостным образом и вызвала этим новый резкий протест со стороны автора. К упомянутым нами трем капитальным трудам присоединились другие (тоже в прозе), более или менее выдающиеся: «Флорентийские ночи», удивительно поэтический отрывок с отчасти автобиографическим характером; другой отрывок в юмористическом роде – «Записки фон Шнабельвопского», представляющий тоже некоторый биографический материал; статьи о французской сцене и прочее.

Что касается творчества в стихотворной форме, то оно проявлялось очень слабо и в количественном, и в качественном отношениях: почти единственным плодом его за этот период были «Pariser Frauenbilder» («Парижские женщины»), отличительный характер которых – циническая чувственность и которые, имея совершенно субъективную окраску, давали врагам поэта очень благодатный – ив большинстве случаев основательный – материал для обвинения его в слишком усердном и неразборчивом служении богине Афродите самого низшего пошиба.

Сделавшись писателем французским, выпуская в свет свои произведения большею частью на французском языке, Гейне, конечно, не переставал быть прежде всего и в коренной сущности своей писателем немецким. Действуя на этом поприще как духовный посредник между Францией и Германией, стараясь знакомить Францию с интеллектуальною и политическою жизнью своего отечества, он, однако, постоянно имел в виду главным образом это последнее, и потому все писавшееся им по-французски немедленно переводилось им же на немецкий язык. Но мы говорили, с какими цензурными препятствиями приходилось ему бороться, в каком обезображенном виде появлялись перед немецкими читателями его сочинения в тех случаях, когда вообще могли они появляться, то есть когда не подвергались совсем запрещению. Сколько, однако, ни пришлось вынести нашему поэту в этом отношении, но ему предстояли еще более сильные, более мучительные испытания. Вскоре после июльской революции и под непосредственным влиянием ее в Германии начала образовываться, а затем и получила быстрое развитие литературная партия, известная как «Молодая Германия». Столпами своими она избрала Бёрне и Гейне; последнего не как художника вообще (тем менее как поэта), а как писателя политического. Идеалом преобразования государства, мечтательно задуманного «молодыми германцами», сделалась Франция под июльскою монархией; главною идеей во всех их начинаниях и стремлениях стало новое немецкое государство по французскому образцу, а так как Бёрне и Гейне были красноречивыми и энергичнейшими проводниками этих идей, то естественно, что именно за ними, по проложенному ими пути, пошли эти новые деятели.

Людвиг Бёрне. ***Литография по портрету М.-Д. Оппенгейма. 1827.***

В настоящее время большинство из того, что писалось «молодыми германцами», представляется нам в цензурном отношении достаточно невинным, тем более что было тут много очевидно утопического, крайне неясного, шаткого, как всегда бывает в подобные минуты «брожения» свежих, далеко еще не созревших жизненных сил. Но не так взглянули немецкие правительства после того, как против «Молодой Германии» выступил с гнуснейшими печатными доносами известный писатель Менцель.

Мало-помалу нападения его приняли характер чисто полицейских доносов: он обращал внимание немецких правительств на войну, которую «молодые германцы» вели с христианством, моралью, браком, как на такую, которая должна была оказаться в высшей степени пагубною для *народа;* он не стеснялся при этом, делать самые мерзкие инсинуации, чтобы пугать и без того трусливое правительство; он выставлял тех университетских профессоров, которые участвовали в журнале Гуцкова, поддерживающими связи с «новым грязным Маратом», хотя «университеты содержатся на счет правительства»,

неистовствующими против христианства, нравственности, брака, семейства, чувства стыда, Бога и бессмертия, немецкой национальности и так далее, и так далее; он, наконец, играл на струне юдофобства, тогда как во всей этой литературной партии были только два еврея – Гейне и Бёрне, – да и то какие евреи!.. Бёрне отвечал доносчику удивительною статьей «Менцель-французоед»; Гейне жестоко заклеймил его в статье «О доносчике», но доносы Менцеля от этого нисколько не утратили своего действия, тем более что он нашел себе и других достойных сподвижников.

Первою мерою правительства относительно «Молодой Германии» был процесс против Гуцкова, которого посадили в тюрьму, и хотя признали по суду оправданным по обвинению в богохульстве и безнравственности и виновным только в «нападении на признанные правительством баденские религиозные общины», но присудили к тюремному заключению и денежному штрафу. Это произошло в 1833 году, а 10 декабря 1835 года состоялось постановление германского бундестага, по которому новая литературная школа была официально признана «стремящеюся самым дерзким образом нападать на христианскую религию, унижать существующий социальный порядок и разрушать всякую нравственность»; на этом основании к ней были во всех немецких государствах применены во всей строгости уголовные и полицейские законы, а именно: запрещено распространять сочинения всех этих писателей (в том числе, конечно, и Гейне, его даже более, чем остальных) каким бы то ни было путем, с предупреждением, что книгопродавцы, которые ослушаются этого распоряжения, подвергнутся строжайшему наказанию. Постановление бундестага повлекло за собой в некоторых немецких правительствах совершенно нелепые меры; так, например, многие профессора, ни в чем не повинные, были уволены в отставку; в объявлениях об изданиях новых журналов имена «молодых германцев», если они значились в числе сотрудников, старательно вычеркивались; наконец, дошли даже до того, что запрещение печатания и продажи сочинений этих писателей было распространено не только на находившиеся уже в обращении, но и на *будущие* труды их!

Понятно, какое действие должно было произвести все это на Гейне. Сначала он не хотел верить полученным в Париже известиям о неслыханном постановлении; когда они подтвердились, он высказал такое же изумление свое этой мерой в прошении, с которым, собственно по отношению к себе, обратился в бундестаг и которое, конечно, было оставлено без всяких последствий. Уже в 1842 году было снято запрещение,

наложенное на сочинения нашего поэта, а покамест дело дошло даже до того, что прусское правительство пригрозило редакции «Revue des deux Mondes» запрещением ввоза этого журнала в свои владения, если в нем будет продолжаться печатание статей Гейне во враждебном Пруссии духе. Строгость относительно Гейне усиливалась благодаря преследованиям и нападениям на него с разных сторон – таких даже, где они являлись ему полным сюрпризом. С одной стороны, например, Менцель, уже после постановления бундестага, писал, что «Гейне, прежде всего увлекаемый еврейскими антипатиями, сделал благодатными темами, на которых потом начала разыгрывать всевозможные вариации „Молодая Германия“, осмеяние христианства и морали, немецкой национальности и нравов, требование эмансипации плоти, разврат молодой Франции, кокетничанье с республикою» и т. п. С другой стороны, бывшие друзья поэта, перешедшие во враждебный лагерь, шли по стопам знаменитого доносчика, и между ними, например, Ж.-Б. Руссо кричал на столбцах газет, что автор «Романтической школы» превзошел в этом сочинении даже Вольтера грязью, гримасничаньем и т. п., что главной тенденцией его здесь было – унижать и оскорблять христианскую религию, и далее все в таком же роде. Под гнетом постоянного и естественного раздражения, озлобления, скорбного чувства, испытывая разные чисто житейские неприятности и невзгоды – отчасти по своей вине, отчасти по чужой, под влиянием нескольких тяжелых утрат в последние годы (смерть г-жи Варнхаген, истребление пожаром оставшихся в Гамбурге рукописей его), Гейне часто чувствовал упадок сил и энергии. Друзья советовали ему возвратиться в Германию; он отказывался на том основании, что это возвращение «могли бы подвергнуть всевозможным превратным толкованиям». А между тем и во Франции ему с каждым днем жилось все хуже и хуже. В очень значительной степени отравляли ему жизнь отношения к немецким демагогам и заговорщикам, скопившимся в это время в Париже в довольно большом количестве и негодовавшим на поэта за то, что он, защищая в печати народное дело, лично остался в стороне от этих представителей народа, оскорблявших его аристократическое, в духовном смысле, чувство своим образом жизни, привычками и т. п. Нападения и обвинения с этой стороны, часто в соединении с клеветой, заставили поэта наконец затворить свою дверь почти для всех своих соотечественников.

«Немцы, которых я вижу в Париже, – писал он, – исцеляют меня от тоски по родине; это большею частью сволочь, нищие, угрожающие, когда им ничего не даешь, негодяи, постоянно кричащие о честности и отечестве, лжецы и воры…» «Если бы я

захотел, – читаем в другом месте, – следуя этнографической системе Лепорелло, издать иллюстрированный список разных мошенников, очищавших мои карманы, то, конечно, в этом списке сошлись бы в достаточном количестве представители всех цивилизованных стран; но пальма первенства все-таки осталась бы за моим отечеством, совершавшим в этом отношении невероятнейшие вещи…»

Об «очищении карманов» поэт говорит потому, что оно действительно играло видную роль в сношениях с ним большей части этих людей: сам нуждаясь, он помогал им деньгами, ручался за них, когда они брали взаймы у других, доставлял им занятия, благотворил сколько мог и постоянно был при этом жертвой самой неблаговидной эксплуатации, гнусной неблагодарности и тому подобного. Но если с негодованием отворачивался он от тех, в которых под личиною патриотизма усматривал совсем иное, то зрелище истинных страданий соотечественников наполняло его сердце глубочайшею скорбью и сочувствием. Тоска по родине продолжала жить в нем, глубоко усиливаясь по мере того, как усиливался разрыв его с нею. Но одновременно с этим скреплялись все больше и больше узы, связывавшие его с Франциею. Наш поэт сделался «своим» среди всего, что было в Париже наиболее выдающегося в области литературы, искусства, интеллигенции вообще; его ближайшие знакомые и друзья – Дюма, Готье, Виньи, Жорж Санд, Минье, Тьерри, Тьер, Беранже, Шопен, Мейербер, Берлиоз, Лист; приезжающие в Париж передовые люди других национальностей тоже завязывают с ним близкие отношения, и, по его собственным словам, слава его в это время – «слава европейская».

К этому же времени относится событие в его частной жизни, которому биографы почему-то придают большое значение. Это – связь поэта с Евгенией (известною под именем Матильды) Мира, – связь, первоначально имевшая форму простого сожительства, а потом, в 1841 году, завершившаяся законным браком. Когда знакомишься с этой историей, вспоминаешь множество подобных фактов: долговременную и прочную связь человека вполне выдающегося с женщиной, стоящей несравненно ниже его по развитию и образованию. Матильда – будем так называть ее – незаконная дочь богатого человека, покинутая своим отцом, до пятнадцати лет росшая в деревне между крестьянами, а потом переехавшая в Париж к своей тетке-башмачнице, где и встретил ее наш поэт, была женщина совсем необразованная, едва грамотная, до такой степени чуждая высших интересов, что почти ни одна строка из написанного ее мужем не была прочитана ею, хотя почти все было переведено на французский язык.

Матильда Гейне, урожденная Мирà, жена поэта. Ок. 1845.

«Люди говорят, – заметила она однажды, – что Henri умный человек и написал много чудесных книг; я же этого ничего не замечаю и должна верить этому на слово». Независимо от отсутствия образования, которое Гейне думал восполнить очень комическим образом, поместив свою возлюбленную на время в пансион для девиц, – независимо от этого весьма невелико было и умственное развитие Матильды вообще: попугай, кошка, наряды, танцы, театр, когда на сцене давались чувствительные мелодрамы или балаганные водевили – вот что исключительно занимало эту женщину, вот что наполняло всю ее жизнь. Но зато сторона сердечная была развита в ней очень широко: доброта, мягкость при бурной вспыльчивости, из-за которой Гейне называл ее «своим домашним Везувием», нежная и безусловная преданность любимому человеку шли рядом с простотой, естественностью, неисчерпаемой веселостью – то есть теми качествами, которые всего выше ценил в женщине наш поэт. Они-то, в соединении с красотою Матильды, ее врожденными изяществом и грациею и подкупили его; молодая 20-летняя девушка, по свидетельству известного романиста Мейснера, приковала к себе поэта «своей наивной болтовней, изменчивым,

но всегда веселым и безмятежным нравом и превосходным сердцем»; да и сам Гейне во многих своих письмах и устных беседах подтверждал то же самое. На первых порах – это было в 1835 году – поэт увлекся Матильдою с той чувственной пылкостью, которая всегда отличала его в подобных случаях. Через год, однако, у него уже начинает появляться мысль о разлуке: сообщая другу, что они с Матильдой живут «счастливо середина на половину», он, однако, высказывает опасение, что «эта связь будет иметь печальную развязку», и такого же рода намеки находим мы и в других письмах его. Но постоянная живость и веселость Матильды, ее кипучий нрав, ее уменье – хотя и не умышленное, а врожденное – поддерживать в своем Henri почти постоянное поэтическое настроение отсутствием всего мещански-прозаического, будничного, наконец, ее нежная преданность ему – все это больше и больше скрепляло их связь; а когда наступила тяжкая болезнь поэта, не оставлявшая его уже до смерти, и когда эта веселая, жадная до светских удовольствий Матильда сделалась неусыпной и нежной сиделкой при несчастном страдальце, тогда, конечно, о разлуке не могло быть и речи, тем более что их связь была уже закреплена законным браком. Что на любовь и преданность Матильды, оставшиеся неизменными с первой до последней минуты сожительства, Гейне отвечал также очень нежными чувствами (не мешавшими ему, конечно, время от времени изменять ей) – на это есть очень много свидетельств и доказательств, и таким образом годы, прожитые поэтом со своею «Ноноттою», своим «милым толстеньким ребенком», представляются нам, собственно по отношению к его домашней обстановке, счастливыми, безмятежными годами. Но тем не менее связи этой мы не можем, подобно нескольким биографам, придавать важное значение в жизни Гейне вообще: разъединение высших – умственных и нравственных – интересов было здесь слишком велико для того, чтобы эта женщина могла сыграть решающую роль в судьбе такого человека, и так как на *этой* дороге они всегда шли совершенно разными, совершенно чуждыми одна другой тропинками, так как о духовном общении здесь не было и помину, то на историю отношений Гейне к Матильде следует, по нашему мнению, смотреть как на второстепенную, интересную для биографа преимущественно тем, что в ней находила себе любопытные проявления чувственная натура нашего поэта…

Только что назвали мы прожитые Гейне с Матильдой годы счастливыми и безмятежными по отношению к домашней обстановке; надо было прибавить к этому – если не считать материальных невзгод. К неуменью поэта распоряжаться своими

денежными средствами, которые притом были очень скудны, прибавилась полнейшая практическая бестолковость его жены. Семи тысяч франков, получавшихся им в год (четыре от дяди и около трех за литературные работы), не хватало на самое необходимое, и он вошел в долги, составившие в это время сумму в 20 тысяч франков; причиною тут было отчасти и поручительство его за одного приятеля в нескольких тысячах франках, но немалую роль играли и неудачные биржевые спекуляции, в которые, под влиянием знакомства с Ротшильдом, время от времени пускался наш поэт, приобретший вообще эту страсть, как думает один биограф, еще во время своего пребывания в гамбургской банкирской конторе. Ухудшению критического положения способствовало то обстоятельство, что по каким-то причинам Гейне поссорился с дядей, и тот прекратил выдачу ему ежегодной субсидии; для возвращения ее поэт стал прибегать к такому унизительному для него образу действий, который производит на знакомящегося с этими фактами крайне тяжелое впечатление. Так, например, в одном журнале появляется энергичная заметка Гуцкова о тяжелом материальном положении, в котором находится знаменитый автор «Путевых картин» и стольких других составляющих честь и гордость немецкой литературы произведений; Гейне сам называет, в письме к Детмольду, эту заметку «хотя написанною с добрым намерением, но возмутительною в своей грубой откровенности», – и однако тут же просит Детмольда послать ее в Гамбург к находившемуся там в это время брату его Максимилиану:

«Не подавайте ему и вида, что Вы получили эту статью от меня, – пишет он, – и заметьте от себя, что, быть может, для меня было бы полезно, если бы мой дядя прочел ее и она побудила бы его исполнить от себя то, чего требует для меня общественное мнение – назначить мне именно теперь гласное (?) ежегодное содержание… Во всяком случае, ради Бога, скройте от Макса, что я писал Вам о таких противных вещах; пусть он думает, что только из третьих рук узнали Вы об усилении моих лишений и бедствий».

В других письмах встречаемся с еще более странными и двусмысленными маневрами, все с тою же целью – и так хитрит, идет окольными путями, унижается из-за каких-нибудь четырех тысяч франков человек, который еще весьма незадолго до того писал: «С моим дядей Соломоном Гейне я нахожусь в самых скверных отношениях; он в прошедшем году нанес мне такое жестокое оскорбление, какое в зрелые годы переносишь гораздо тяжелее, чем в беспечную пору молодости…» Старания поэта, благодаря разным ходатайствам, увенчались успехом: дядя стал

снова давать ему ежегодную субсидию, а четыре года спустя, после женитьбы племянника (в 1841 году), прибавил к четырем тысячам франков еще 800, с обещанием после смерти поэта выплачивать половину этой пенсии Матильде. Почти в то самое время, когда состоялось это примирение, Гейне получил еще от Кампе 20 тысяч франков, уступив ему за эту ничтожную сумму право издания *всех* своих сочинений в течение одиннадцати лет, но все это далеко не выпутывало его из тисков. И тут все с тою же неразборчивостью, когда дело шло о «бюджете», он решился на шаг, который его противникам легко было истолковать в самую дурную сторону: принял от французского правительства ежегодное пособие в 4800 франков из того фонда, который отпускался эмигрантам, нашедшим себе по политическим причинам убежище во Франции. Эту субсидию он получал с 1838 по 1848 год и никогда не скрывал этого, говоря, что видит в этом отношении к нему свидетельство того, как Франция умеет чтить даже иностранцев с теми или другими заслугами, в противоположность Германии, где и ее собственные «сыны», как бы они велики ни были, часто умирают с голоду; но враги поэта, каковых у него между немцами становилось все больше и больше, не переставали трубить, что он продал себя французскому правительству. Правда, что это обвинение представляется совершенно нелепым, когда читаешь написанные Гейне в этот десятилетний период статьи и корреспонденции, в которых он не стесняется высказывать осуждение многим действиям этого самого помогающего ему правительства; правда, что из того же «фонда», который оказывал ему поддержку, получали ее и люди самой безукоризненной честности, с самой незапятнанной репутацией; но правда и то, что по вполне естественному чувству деликатной благодарности *тон* этих статей, быть может, и помимо воли автора, сделался сдержаннее, чем и могло вызываться, при малейшей недоброжелательности, подозрение в подкупе, и, во всяком случае, как справедливо замечает Прёльс, с положением публициста несовместимо принимать пособие от того государства, о котором пишешь. Но ведь Гейне, как мы уже видели, сам сознавал, что в нем весь человек (относительно не убеждений, принципов, а поступков) управляется «бюджетом», – то же повторилось и теперь… К денежным невзгодам присоединились, однако, и другие, более серьезные: ухудшение здоровья. Те припадки и симптомы, которым несколько лет спустя предстояло разразиться таким трагическим образом, повторялись все чаще и чаще. В июле 1837 года он писал, что «левая рука его с каждым днем становится худее и, видимо, отнимается», а скоро после того наступила, или, вернее,

усилилась старая болезнь глаз, принявшая теперь такие размеры, что поэт одно время боялся ослепнуть.

О литературной деятельности Гейне в рассматриваемый нами период мы уже говорили. После появления вышеупомянутых сочинений она не прекращалась; только то, что выходило из-под его пера, принимало все более и более желчную окраску. Причина этого заключалась, с одной стороны, в личных обстоятельствах жизни поэта, с другой – в положении дел общественных и политических, в том, что июльская революция не принесла ни Германии, ни Франции ожидавшихся плодов; всюду утрачивалась вера в воскрешение человечества, и у Гейне, при его пессимистически-реалистической натуре, это отчаяние могло развиться сильнее и определительнее, чем в ком-нибудь другом. Под влиянием личного раздражения создалось в значительной степени сочинение «О Бёрне», несколько страниц которого легли неизгладимым пятном на Гейне как человека; озлобленному же негодованию «рыцаря духа», каким называл себя поэт, обязаны своим возникновением поэма «Атта Тролль» (1842), «Новые стихотворения» (1844) и особенно «Зимняя сказка» (1844).

Г.Гейне. ***Работа Фридриха Дица. 1842.***

Для того чтобы составить себе ясное понятие о памфлете на Бёрне, чтобы сделать ему вполне беспристрастную оценку, нужно знать во всей подробности историю отношений между этими двумя знаменитыми деятелями, нужно вникнуть в коренную сущность этих двух натур. Одушевляемые одними и теми же либеральными стремлениями, одинаково горячо служа делу прогресса как всего человечества вообще, так и своей родины в частности, Гейне и Бёрне радикально разнились однако исходною точкою своих воззрений, фундаментом, на котором возводилось здание их писательства. С одной стороны, то есть в лице Гейне, пред нами художник-поэт, этим только путем желающий действовать и действующий на человечество вообще и человечество современное; с другой – публицист в самом полном и тесном значении этого слова. С одной стороны – человек не только слова, но и дела, ничем не брезгующий, братающийся в пивных и трактирах с самыми грязными по внешнему виду революционерами, входящий на Монмартр с толпой заправских подмастерьев и там обращающийся к ним с речами ультразажигательного свойства, с другой – эстетик, наделенный аристократическою брезгливостью ко всему грубому, плебейскому, с вдохновенною энергиею отстаивающий права народа, низшего класса, но в то же самое время делающий, например, такое заявление:

«Бёрне выражался, может быть, метафорически, когда говорил, что *если* бы сильный мира сего пожал ему руку, он положил бы ее после этого в огонь, чтобы очистить; я же говорю отнюдь не аллегорически, а совершенно буквально, что если народ пожмет мою руку, я ее потом вымою… Пока мы читаем о революциях в книгах, все выходит очень красиво, и с ними повторяется та же история, что с пейзажами, отлично вырезанными на меди и превосходно отпечатанными на дорогой веленевой бумаге: в этом виде они чаруют наш взор; а посмотреть на них в натуре, то убедишься совсем в противном: вырезанный на меди навоз не воняет, а через вырезанное на меди болото легче перейти вброд глазами…»

Бёрне сравнивал себя с Лютером, а Гейне – с Меланхтоном, замечая: «Я могу сказать, как Лютер, что рожден для того, чтобы воевать с чертями, и потому многие сочинения мои имеют бурный и воинственный характер; Меланхтон же работает тихо и безмятежно, наслаждаясь тем, что Бог щедро наградил его…» Гейне говорит, что он гармонировал с Бёрне «только в области политики, а отнюдь не философии, искусства или природы, которые были совершенно чужды ему», и в этих словах мы находим одно из лучших объяснений причины разногласия между

этими двумя людьми. Но это разногласие, быть может, не приняло бы такого острого характера, осталось бы исключительно теоретическим, не вышло бы, одним словом, за пределы спора, пожалуй даже вражды, чисто литературной, если бы частный, личный элемент не примешался сюда в очень значительной степени. Гуцков – сперва жаркий приверженец Гейне, а потом почти его враг, по причинам, на которых здесь не место останавливаться – объясняет источник личной желчи, которая разлита по всей книге «О Бёрне», завистью к тому огромному успеху, который имели «Парижские письма» Бёрне и который распространился и на личность автора, затем – нападениями на него в этих «Парижских письмах» и, наконец, постоянным поддерживанием •вражды между Гейне и Бёрне сторонниками того или Другого, не скупившимися на всевозможную клевету, инсинуации, сплетни. Признавая, на основании фактических данных, несомненную верность последнего обобщения, мы готовы согласиться и с двумя первыми, зная доходившее часто до смешной мелочности, даже до какой-то ядовитости самолюбие Гейне и его беспредельную щекотливость, раздражительность, чуть только кто-нибудь хотя слегка задевал его как писателя или человека. Но несомненно и то, что не Гейне первый нарушил те дружеские отношения, которые до 1831 года существовали между ним и его знаменитым единомышленником: первые нападки пошли от Бёрне, и если невозможно отрицать, что главным источником здесь, особенно на первых порах, были шаткость и неопределенность публицистических взглядов Гейне, то точно так же имеем мы данные утверждать, что Бёрне не ограничивался ведением (в «Парижских письмах») литературной войны против своего противника, а следил за подробностями его частной жизни, собирал о ней всевозможные сведения, справедливые и выдуманные, и эксплуатировал их для того, чтобы вредить репутации автора «Французских дел». Гейне, напротив того, оставался совершенно безмолвным до самой смерти Бёрне, и только два-три раза в его частных письмах прорывались выражения неудовольствия, вроде, например, заявления Варнхагену: «Мы с Бёрне теперь в очень скверных отношениях: он выпустил против меня несколько якобинских козней, которые весьма не понравились мне; я считаю его сумасшедшим». Прибавим еще, если не для оправдания, то для объяснения самых нехороших страниц в книге о Бёрне, что важную роль в поддержании и усилении этих дурных отношений играла задушевная приятельница Бёрне, г-жа Воль (потом, после смерти мужа, вышедшая за доктора Штрауса), и что Гейне знал об этом; кроме того, как полагает Прёльс, к клевете собственно на поэта,

которую не стеснялась распространять эта барыня, присоединилась клевета ее на Матильду, а Гейне в этом отношении был щекотлив до последней степени… Как бы то ни было, но создавшийся под всеми этими впечатлениями памфлет был во всяком случае нехорошим делом. Правда, патриотизму и геройскому самоотвержению Бёрне поставлен здесь красноречивый памятник на тех страницах, где автор представляет его «великим бойцом, так мужественно бившимся на нашей политической арене», называет его «человеком, гражданином земли», видит в нем «самого, быть может, великого патриота, который сосал из груди своей мачехи Германии пламеннейшую жизнь и горчайшую смерть»; но наряду с этим, и притом в гораздо большем количестве, не совсем приличные насмешки, старание выставить личность своего противника в возможно комическом свете, даже с внешней стороны; наконец, циничное вторжение в частную жизнь рассказом о совместном квартировании г-жи Воль (тогда уже Штраус), ее мужа и «домашнего друга» Бёрне, с прозрачными и недостойными порядочного человека намеками на истинный характер этих отношений и даже с выражением негодования по поводу такой «безнравственности»! Отягчающим обстоятельством явилось в этом случае еще то, что сочинение свое Гейне выпустил уже после смерти Бёрне (тот умер в 1837-м, а книга появилась в 1840 году), то есть когда противник не мог уже возражать и защищаться, и, таким образом, нисколько не удивительно, что обнародование памфлета, в иных местах принявшего даже характер пасквиля, имело весьма неблагоприятные для автора последствия. С мужем оскорбленной дамы Гейне пришлось драться на дуэли, которая, впрочем, окончилась благополучно, после чего поэт дал обещание (впоследствии исполненное) при новом издании сочинения о Бёрне не перепечатывать касающихся г-жи Воль страниц; с несколькими из искренне расположенных к нему людей ему пришлось разойтись собственно из-за этого поступка, а нападения со стороны враждебного лагеря сделались, конечно, еще ожесточеннее…

Что касается упомянутых выше произведений, в которых нашли себе новое выражение политические и социальные разочарования Гейне, то они, будучи написаны в стихах, доказали, как ошибался автор – если он только говорил искренне, – когда в 1839 году писал: «Я вообще имею мало доверия к моей поэзии – собственно стихотворству; мой возраст, а может быть и все наше время уже не благоприятствует стихам, а требует прозы». Поэма «Атта Тролль», резко осмеивавшая односторонние крайности тогдашней немецкой политической

поэзии и этим даже вызвавшая со стороны противников и врагов автора упрек, что он явился здесь отступником от тех идей равенства, братства и тому подобного, за которые до сих пор сам ратовал, – это полуфантастическое, полуромантическое произведение изобилует высокопоэтическими, в смысле даже чистого искусства, красотами. В «Новых стихотворениях» Гейне вступил на путь сатирической лирики, с мрачным пессимизмом, проявившимся в чисто сатанинском хохоте отчаяния и безверия над окружавшими его в политической и социальной жизни Германии явлениями, и обозначил этот новый фазис своего поэтического творчества произведениями, в которых, по очень образной характеристике Штродтмана, «все – желчь, горькая желчь в красиво отшлифованных сосудах, проклятья осужденных на вечные муки, язвительная насмешка демонов тьмы над бедствиями и скорбями обреченного на смерть, зараженного внутренним гниением и ложью мира!» Лучшим же выражением этого сатирического направления, «брильянтом немецкой сатирической литературы вообще» – по характеристике Готшаля – явилась «Зимняя сказка», нечто вроде поэмы, где автору более чем где-либо посчастливилось дать поэтическое выражение своему реалистическому воззрению на политический и социальный строй того времени. С беспощадным остроумием, с ужасающим эстетика реализмом, но при этом с сохранением удивительной поэтической силы выставлена здесь на позор господствовавшая тогда в Германии безобразная смесь средневекового феодального порядка и немецкого «квасного» патриотизма, осмеяно многое такое, чем гордились немцы, что признавали они великим, великолепным, – осмеяно именно потому, что в патриотическом увлечении, самовосхвалении было ужасно много форсированного, искусственного, лживого.

«Зимняя сказка» была написана после поездки поэта в Гамбург на короткое время в конце 1837 года, для свидания с матерью и родными и для устройства своих денежных дел с издателем его сочинений, Кампе, а если судить по написанному в это время стихотворению «Прощание с Парижем», надо думать, что его влекла в Германию и тоска по родине.

Хотелось ему, кроме Гамбурга, побывать и в Берлине, но друзья дали ему знать, что безопасней для него держаться подальше от столицы Пруссии, и, конечно, это обстоятельство, в соединении с тем, что пришлось ему увидеть и узнать воочию, а не только по рассказам и газетам, о делах отечества, немало способствовало усилению озлобленного, ядовитого тона «Зимней сказки». Действие ее оказалось таким, каким и следовало ожидать: во всех городах Пруссии она была немедленно

подвергнута строгому запрещению, причем во все пограничные города последовало распоряжение арестовать автора, как только он там появится; кроме того, в значительной степени оправдалось то, что предсказывал Гейне в письме к другу за неделю до выпуска этой книги: «Вследствие того, что сочинение мое, – говорит он, – не только радикально, революционно, но и антинационально, против меня натурально восстанет *вся* пресса, так как она находится в руках или правительства, или националов и может быть эксплуатируема во вред мне не политическими врагами, а чисто литературными негодяями». Что касается денежных дел, то они устроились довольно благоприятно, хотя, конечно, не будь в то время литературный гонорар так скуден даже относительно таких писателей, как Гейне, результат переговоров поэта с Кампе мог бы и должен бы выйти гораздо лучшим для первого: контракт, заключенный, как мы видели выше, на одиннадцать лет, теперь был продлен на вечные времена на том условии, что за право издания сочинений Гейне (до того времени написанных) Кампе будет выплачивать ему, начиная с 1848 года, то есть со времени истечения одиннадцатилетнего контракта, по 2400 франков в год, а по смерти его, если бы она случилась и раньше 1848 года, продолжать выдавать эту же сумму его вдове во все продолжение ее жизни. Так как полученные прежде 20 тысяч франков помогли поэту погасить лежавший на нем долг, да и от дяди продолжал он получать около 5 тысяч франков в год, то положение его представлялось ему достаточно обеспеченным относительно и его самого, и будущности Матильды, о чем он не переставал думать с самою нежною заботливостью. Но его ожидал жестокий удар.

Вскоре после своего второго возвращения из Гамбурга в Париж получил он известие о смерти Соломона Гейне. Несмотря на постоянные разногласия и даже ссоры с миллионером-банкиром, поэт имел данные рассчитывать, что он не будет забыт в духовном завещании, и на эту посмертную щедрость как он сам, так и жена его возлагали большие надежды. И вдруг его ошеломляет сообщение, что из оставшихся после дяди многих миллионов ему, наравне с остальными его братьями, завещано всего 8 тысяч франков! Но мало того: в завещании этом ни одним словом не упоминалось о той пенсии, которую словесно обязался покойный дядя выдавать поэту во все продолжение его жизни, а жене его – в половинном размере после его смерти, и, пользуясь этим умолчанием, сын и единственный наследник старика, Карл, от выплачивания пенсии отказался. Гейне пришел в страшное негодование и раздражение: с одной стороны, его, столь чувствительного к потерям этого рода, ужасала перспектива

значительного уменьшения материальных средств; с другой – он до глубины души возмущался грубою скаредностью умершего дяди, а главное – недобросовестностью Карла, который, не говоря уже о всяких других соображениях, был с поэтом в самых дружеских отношениях и пользовался его заботливым уходом в то время, когда, приехав в Париж, заболел там холерой.

Но чувствами и ощущениями, вызванными этим инцидентом, Гейне не ограничился: он решился во что бы то ни стало возвратить свои права на пенсию, хотя и не имел на то никаких юридических оснований, и тут начался между обеими сторонами спор, конечно, в высшей степени позорный для богатых родственников человека, покрывшего такою яркою славою имя Гейне, но далеко не лестный и для него самого. Крайне тяжелое впечатление производят письма поэта, относящиеся к этому делу, и другие сведения о нем. Вместо того чтобы ответить гордым презрением на совершенную с ним гнусность, он с каким-то остервенением старается вырвать из рук миллионера кузена то, что в сущности составляет не что иное, как милостивую подачку, и в средствах к достижению этой цели не обнаруживает никакой разборчивости: он хочет действовать посредством газетных «обличений», просит своих друзей принять на себя роль этих обличителей, замечая, что «первые комья грязи, кинутые в Карла Гейне, непременно окажут свое действие», стараясь впутать общество в эти домашние дрязги с надеждой, что «общественное мнение легко приобрести в пользу поэта против миллионера». Сегодня он грозит величайшими скандалами, произносит слова, полные сознания собственного достоинства, и объявляет, что не пойдет ни на какие уступки, не примет никаких предложенных ему компромиссов и условий, а завтра униженно принимает эти условия, состоящие в том, что назначенная ему дядею пенсия будет по-прежнему выдаваться, если он обяжется – и примет это обязательство также за своих наследников – никогда не выпускать в печать ни одной строчки, мало-мальски оскорбительной для семейства Карла Гейне и родственников его жены. Причина, почему Карл отказался выдавать пенсию, действительно заключалась в том, что до него дошло известие о приготовлении поэтом своих «Мемуаров», в которых и Соломону Гейне, и всей его родне предстояло явиться в очень незавидном свете; притом он гневался на кузена и за то, что тот в своих статьях и корреспонденциях иногда жестоко издевался над знаменитыми банкирами Фульдами, на племяннице которых Карл был женат и которые восстанавливали его против ненавистного им корреспондента «Allgemeine Zeitung» и французских журналов. И как поэт, так и миллионер добились своей цели: первый получил

наконец обязательство, что пенсия будет ему выплачиваться на прежних основаниях, но зато у второго в руках оказалась расписка Генриха Гейне, что вышеупомянутое условие будет строго исполняться. И тут опять перед нами факт непостижимого противоречия в натуре нашего поэта: в одном письме он – и совершенно основательно – называет возвращение ему пенсии совсем «не колоссальным великодушием» со стороны Карла и заявляет, что больше уж никогда не обратится к нему за помощью, несмотря на все его богатство и как бы дружески ни относился он к нему; в прутом письме, рассказывая о состоявшемся между ними примирении и о том, что Карл дал слово выплачивать и Матильде *половину* пенсии после его смерти, он вдруг умиляется, точно Бог весть какое благодеяние оказано ему: «…и когда Карл, – пишет он, – для запечатления своего обещания протянул мне руку, то я прижал ее к губам своим, до такой степени глубоко потряс меня этот поступок…»

Единственное смягчающее обстоятельство для нашего поэта во всей этой истории заключается в том, что болезнь его в это время все усиливалась, и в той перспективе беспомощного состояния, которая, естественно, являлась пред ним среди увеличивавшихся физических страданий, потеря каждого франка могла казаться ему большим несчастием, тем более что тут дело шло и об участи Матильды после его смерти. Как бы то ни было, но самый важный и плачевный результат этого столкновения тот, что оно оказало пагубнейшее действие на больного поэта в физическом отношении и уже вполне открыло собою ужасную трагедию последних одиннадцати лет его жизни. Если он преувеличивал, говоря в одном из позднейших писем своих, что именно поступок его брата «разбил кости в его сердце» и что он «умирает от этого»; если ту же самую мысль он высказал в нескольких, полных ядовитой желчи стихотворениях, написанных уже почти на смертном одре; если преувеличивает и друг его Лаубе, утверждая, что «сотни битв в литературе и политике не сделали ни малейшего вреда этому страшному воину, но единственный удар, нанесенный семьею, разбил его»; если, одним словом, постыдные действия семьи не были причиною наступившего вскоре разрушения – ибо оно началось уже раньше, – то несомненно, что ими дан был этому разрушению роковой и могущественный толчок…

Таким образом, мы подошли к последнему и страшному периоду в жизни нашего поэта, – периоду, перед явлениями которого смолкают все чувства, кроме глубочайшего сострадания и удивления…

Глава VI. Последние годы

Тяжкие недуги. – Прусская полиция запрещает умирающему поэту приезд в Берлин для советов с врачами. – Необычайная бодрость духа при адских мучениях. – Плач перед статуей Венеры Милосской. – Юмор и перлы поэзии на смертном одре. – «Мемуары» и их загадочная судьба. – Смерть.

На страницах настоящего очерка нам неоднократно уже приходилось встречаться с проявлениями болезни Гейне, – проявлениями в форме сильных головных болей, общего нервного расстройства, ослабления глаз почти до слепоты, паралича руки и тому подобного. Так как некоторые из этих симптомов начали обнаруживаться уже в ранней молодости поэта, то бесспорно, что болезнь лежала в самом организме его. Но мы видели, как, тоже в молодости, помогал он сам ее развитию непомерным потворством своей чувственности; и, так как оно продолжалось почти в такой же степени и далеко за пределами молодых лет, то нисколько не удивительно, что вместе с ним шло и развитие болезни. Одно время, в начале сороковых годов, здоровье поэта значительно поправилось; глядя на этого подвижного человека, «блестящего и изящного, как светский аббат» (писал о нем в это время Лаубе), с розовым цветом полных щек, с маленькими, но ярко искрящимися глазами, с высоким, лишенным морщин лбом, над которым красиво лежали густые темно-каштановые волосы, никто бы не поверил, что несколько лет спустя он увидит пред собою разбитый, иссохший скелет… Улучшение здоровья было действительно только видимое. Уже незадолго до ссоры с двоюродным братом писал он одному из друзей, что левый глаз у него совсем закрылся, а в правом тоже помутилось; сильное потрясение, произведенное этою несчастною историею о наследстве, подвинуло болезнь вперед исполинскими шагами. Недовольный парижскими докторами, – хотя один из них, Гюби, много сделал для облегчения его мучений, – он думал ехать в Берлин, чтобы посоветоваться со знаменитым Диффенбахом, – но, не будучи уверен, что личной безопасности его не предстоит ничего «неприятного» со стороны прусской полиции, обратился за посредничеством к одному из своих доброжелателей, великому натуралисту Александру Гумбольдту, который в ту пору был в большой милости у прусского короля; ответ пришел отрицательный: Гумбольдту, несмотря на его усиленное ходатайство, отказали, и отказали так решительно (не король, а высшая полиция, пред которою и государь оказался бессилен), что он писал поэту: «Я считаю долгом просить Вас не вступать на

прусскую землю». Между тем болезнь усиливалась; пальцы и правая нога утратили чувствительность, вследствие чего затруднилась способность движения. Доктора послали больного на воды в Бареж; ему стало еще хуже.

«Мои органы, – писал он, – снова так ослабли, что я не могу писать; вот уже четыре месяца, как не ем ничего, потому что трудно жевать и нет никакого ощущения вкуса. Я тоже ужасно исхудал, бедный живот мой плачевно уничтожился и, – прибавлял он, находя и в это время возможность шутить и острить, – я сделался похож на тощего одноглазого Аннибала…»

Но не только смеяться мог он среди невыносимых страданий: чувство жизни, жажда наслаждения ею были так велики, что уже одно воспоминание о недавнем удовлетворении этой жажды доставляло ему отраду: «Сладкое сознанье, – говорил он в том же самом письме, – что я вел до сих пор прекрасную жизнь, наполняет мою душу даже в это печальное время и вероятно не оставит меня в самые последние часы…» Мало того: так сильны были в нем чисто чувственные склонности, что и теперь, совершенно разбитый, он сожалел, что хотя целует свою Матильду, но вследствие паралича губ «не чувствует ничего», и даже несколько лет спустя, когда физические муки его достигли апогея, выражал сетование и скорбь, что не существует уже для него «прекрасных горных вершин, на которые он мог бы взбираться, и прекрасных женских губ, которые он мог бы целовать…» Но само собой разумеется, что такие минуты, такие ощущения бывали редки: страшные физические боли господствовали надо всем, и как наш Некрасов, находившийся почти в таком же положении, писал: «Хорошо умереть – тяжело умирать», точно так же – буквально так же – Гейне находил ужасным «не смерть (если вообще она существует, – прибавлял он), а умирание…» Навестивший его в начале 1847 года Лаубе нашел друга страшно изменившимся, высохшим, как скелет, обросшим седой бородой, потому что нервная раздражительность не позволяла бритве дотрагиваться до лица (до тех пор Гейне очень гладко брился), с сухими, в беспорядке спускавшимися на лоб волосами, с судорожно двигавшимися губами, с напряженно поднятою вверх головою, так как зрачок правого – единственного уцелевшего – глаза мог видеть только сквозь открытую узкую щель между веками. В этом положении, не переставая заботиться об участи своей Матильды, написал он духовное завещание, в котором все остающееся от него (то есть право на сочинения) отдал этой женщине, «которую я несказанно любил, которая освещала мою жизнь столько же прекрасно, как верно», просил Карла Гейне обеспечить за нее обещанную пенсию таким образом,

чтобы это дело «не подавало повод ни к новым унижениям, ни к огорчениям»; он поручал Детмольду и Лаубе редакцию полного собрания его сочинений, если он сам не успеет закончить ее, распорядился, чтоб его похоронили на Монмартрском кладбище, но, несмотря на принадлежность его к протестантской религии – на кладбище католическом, потому что там впоследствии будет лежать и жена его, тут же нежно прощался со старой матерью (от которой тщательно скрывал до самой последней минуты свою болезнь), сестрою и братьями, «с которыми всегда жил в самом невозмутимом согласии», – и в заключение говорил: «Прощай и ты, немецкая родина, страна загадок и скорбей, будь светла и счастлива! Прощайте, вы, умные добрые французы, которых я так сильно любил. Благодарю вас за ваше милое гостеприимство». Ожидание смерти среди таких страданий не мешало сохранению необычайной бодрости духа, только временами уступавшей место мрачному отчаянию, и ненарушимой ясности ума в соединении с прежним живым интересом относительно политического и социального хода вещей. Это проявилось очень наглядно в дни февральской революции 1848 года, вспыхнувшей в то время, когда болезнь поэта приняла еще более острый и мучительный поворот. Правда, сочувственное отношение к «великим февральским дням», как он называл их, вскоре сменилось у него скептическим, пессимистическим воззрением при созерцании действий «временного правительства», в среде которого он находил многих «жалких комедиантов», замечая, что никогда еще «народ, великий сирота, не вынимал из революционной урны пустых билетов более ничтожных, чем эти временные правители»; но это не уничтожало в нем – которого, по замечанию Штродтмана, даже страшная болезнь не могла сделать консервативным – стремления следить за всем происходившим и глубоко сожалеть о том, что переживать такое событие, как февральский переворот, ему приходилось в таком печальном, беспомощном положении. «Мне следовало бы, – писал он, – быть в это время мертвым или здоровым». Главный интерес его возбуждали не французские дела, а те результаты, которые они вызывали в Германии. «Но, – писал он, – я не могу заниматься ими много, потому что получаемые мною из отечества печальные известия действуют на меня так раздражительно, что мое здоровье только ухудшается каждый раз, как дойдет до меня такая весть…» Принятие близко к сердцу этих событий выразилось у него в форме нескольких корреспонденции в ту же «Allgemeine Zeitung» и нескольких стихотворений едко-сатирического характера; но за перо публициста взялся он теперь уже в последний раз, потому что этот, 1848 год был и самым

роковым в ходе болезни поэта. В мае этого года вышел он из дома на прогулку, полуслепой, полухромой, – и то была последняя прогулка его: он вернулся домой для того, чтобы никогда уже не выйти на улицу, чтобы остаться прикованным к постели до самой смерти. Есть своего рода глубокий трагизм в том обстоятельстве, что место, куда он зашел на этот раз и откуда привезли его полуживого на квартиру, было то отделение Луврской галереи, где хранятся произведения античной скульптуры. Здесь, – как рассказывает Мейснер, и при этом мы невольно вспоминаем «Флорентийские ночи» нашего поэта, где он ребенком является влюбленным в статую, – здесь он остановился пред статуей Венеры Милосской, долго упивался созерцанием ее и, наконец, горько-горько заплакал. «А прекрасные губы богини улыбались как всегда, и пред нею рыдала ее несчастная жертва!..»

Как ни сильны были до сих пор физические страдания поэта, теперь они еще увеличились: болезнь была такого рода, что могла идти только прогрессируя, но в то же время медленно приближаясь к развязке.

«Вот уже три месяца, – писал он в это время, – как я терплю такие муки, каких не могла выдумать даже испанская инквизиция. Эта живая смерть, эта не-жизнь совершенно невыносима, когда к ней присоединяются боли…»

И, все не переставая тут же шутить и острить над собою, сообщал публике, через посредство немецкой газеты, что иногда, в минуты слишком уж сильных судорог в спине, на него «находило сомнение, действительно ли человек двуногий бог», как уверял его профессор Гегель в Берлине. «Ах, – прибавлял он, – я уже не божественное двуногое… я уже не наслаждающийся жизнью довольно толстый эллин, некогда весело улыбавшийся печальным назарянам; я в настоящее время – только жалкий, умирающий еврей, я высохший образ скорби!..»

Для того чтобы больной мог хоть несколько забываться, ему давали ежедневные приемы опия; слепота его усилилась, так что когда хотел он взглянуть на кого-нибудь, входившего в его комнату, то должен был с усилием приподымать верхнее веко правого глаза; ноги иссохли и сделались мягкие, как хлопчатая бумага; позвоночный столб стал все больше и больше искривляться, и для уменьшения этого местного страдания приходилось прибегать к прижиганиям. И в это время черты лица его, как рассказывает бывавший у него писатель Левин Шюкинг, «как-то просветлели, одухотворились: то была голова бесконечной красоты, настоящая голова Христа, – с улыбкой Мефистофеля, временами пробегавшей по этим бледным, высохшим губам». Неудивительно поэтому, что если в это самое

время поэт писал: «Жизнь для меня навеки потеряна, а я ведь люблю жизнь так горячо, так страстно»; если и в нескольких, относящихся к этой поре стихотворениях высказывалось то же чувство, то все-таки неудивительно, что не раз приходила ему мысль о самоубийстве, и, судя по его собственным словам, его руку (в распоряжении которой всегда находились опиум и карманный кинжал) удерживала только мысль о любимой жене и о многих произведениях, которые ему нужно было еще закончить; правда, к жене он прибавлял и своего попугая: «Не будь у меня жены и попугая, я – Господи, прости мне этот грех! – покончил бы с собою, как римлянин!» Доктора, и особенно Доктор Грюби, делали все возможное, чтобы умерить его страдания; не видя радикально благоприятных результатов, которые были и невозможны, больной принялся сам читать разные медицинские сочинения, чтобы узнать ближе свойство своей болезни; но и тут иронизировал над собой, как иронизировал над всем: «Мои медицинские занятия, – говорил он, – принесут мне мало пользы; самое большое, что я приобрел – это возможность читать на небе лекции, чтобы доказать моим слушателям, как дурно лечат врачи на земле размягчение спинного мозга». А когда один из докторов предложил ему новое успокоительное средство, то больной сделал возражение, которое, думаем, заключает в себе хорошее объяснение сущности его болезни вообще, с самого начала ее возникновения: «Положим, – сказал он, – ваше средство успокоит мой бешеный подвздошный нерв, но зато начнут неистовствовать другие… Мои нервы совсем особенные – это удивительные, несчастные нервы; если бы их отправить на всемирную выставку, им бы непременно присудили большую золотую медаль за способность причинять всевозможные боли и страдания…»

При той общительности, которая была так сильно развита в поэте, когда общение приходилось ему иметь с симпатичными людьми, большое развлечение и утешение во время болезни доставляли ему визиты близких знакомых и друзей – особенно дам, «великой нации», как он называл женщин, в компании которых он и теперь веселел, даже молодел. В числе их бывали такие личности, как Жорж Санд, мадам Жирарден и другие; из обыкновенных смертных прекрасного пола, доставлявших в это время больному много светлых минут и окружавших его самыми нежными заботами и баловством, которое теперь было необходимо ему, как ребенку, надо упомянуть с особенною благодарностью мадам Жобер, жену члена парижского кассационного суда, державшую в Париже «салон», где сходились выдающиеся деятели литературы, науки и искусства и где постоянно бывал у нее и Гейне; теперь, во время болезни поэта,

присутствие ее было так благотворно для него, что даже Матильда, женщина очень ревнивая и даже в эту пору недолюбливавшая всех этих усердных посетительниц, прозвала мадам Жобер «маленькой феей» и находилась с ней в самых дружеских отношениях. Из мужчин навещали страдальца более или менее часто Дюма, Жерар де Нерваль, Теофиль Готье, Беранже, Лассаль; когда приезжали в Париж те из соотечественников Гейне, с которыми он не переставал поддерживать дружеские связи, то они бывали постоянными гостями его; так, нередко видел он у себя Лаубе, Мейснера, Адольфа Штара, Геббеля и других, по временам приносивших ему с родины сладкие для его литературного самолюбия вести, например, что множество его песен, положенных на музыку лучшими композиторами, распевались по всей Германии, что они сделались, таким образом, достоянием народа. Большую отраду доставило ему в эти годы посещение любимой сестры Шарлотты и двух братьев. Само собой разумеется, что не было недостатка и в несносных, неприятных заявлениях сочувствия, как личными визитами, так и письмами – особенно со стороны все тех же соотечественников, главный контингент которых составляли жалкие литераторы, «интервьюеры» и тому подобная братия. Эти посещения и обращения только раздражали больного – большей частью потому, что он, боясь, чтобы слова его не появлялись потом в печати через посредство этих господ в извращенном виде (как это часто делалось), должен был старательно обдумывать каждое выражение, прежде чем произнести его… Иногда же выпроваживал их так, что отбивал всякую охоту возвращаться.

Но при всех страданиях больной сохранял удивительную мощь духа, необычайную ясность и крепость мышления; можно даже сказать, что его умственное и духовное здоровье усиливалось по мере того, как все больше и больше разрушался физический организм. Это обнаруживалось не только в его беседах, которые, когда больной мог говорить, сверкали остроумием, свежестью, глубиною, разнообразием, но и в литературной производительности, которая не прекращалась до самой смерти. «Мое тело, – писал он, – терпит великие муки, но душа спокойна, как зеркало, и временами имеет еще свои чудесные восходы и закаты солнца». Кроме произведений прозаических, таких как «Боги в изгнании», «Стихийные духи и демоны», «Признания» и несколько других статей, на этом одре страданий в этой «матрацной могиле» (Matratzengruft) – как называл поэт со своим ужасным юмором те двенадцать матрацев, на которых он лежал, – возникли удивительные, то потрясающие по своему трагизму, то чарующие своей задушевной прелестью,

то мрачно отчаянные, то тихо задумчивые и скорбные стихотворения, составившие циклы «Романсеро», «Лазарь», «Последние стихотворения» и по применению к которым он имел полное право сказать: «Как ослепленная ласточка, я буду петь тем прекраснее…» Понятно, что преобладающий тон во всем, несмотря на разнообразие звуков и мотивов, был тон безнадежного пессимизма, и никто не охарактеризовал сущности этих произведений лучше самого автора, когда на замечание Мейснера: «Какие стихи! Какие звуки! Еще никогда не писали Вы ничего подобного, и никогда ничего подобного я не слышал», – поэт отвечал: «Не правда ли? Да, я сам знаю – это прекрасно, ужасающе прекрасно! Это жалоба, выходящая как бы из гроба, тут кричит во тьме заживо погребенный. Да-да, таких звуков еще не слышала немецкая лирика, да и не могла их слышать, потому что до сих пор ни один поэт не находился в таком положении».

Генрих Гейне в период «матрацной могилы». ***Гравюра***

Шарля Габриеля Глейра. 1852.

К этому же времени относится работа, которую мы уже неоднократно цитировали, но о которой умышленно до сих пор не говорили – «Мемуары». Вся история с этим трудом, от которого общим достоянием осталось очень небольшое число страниц, имеющих дело только с детскими годами автора, – история очень странная и темная. Сущность ее в коротких словах следующая. Писанием мемуаров Гейне занимался давно, и в 1840 году у него было приготовлено уже материала на целых четыре тома. Затем, вследствие известного нам обязательства поэта перед Карлом Гейне, а также, как он сам объясняет, перемены в его религиозных убеждениях, которые в этой первой редакции мемуаров представлялись совершенно атеистическим характером, труд этот подвергся радикальной переработке и сокращениям почти наполовину, и в 1854 году, сообщая об этом своему издателю Кампе, автор выражал надежду уже в этом году окончить большую часть и немедленно выпустить его в свет. Но это не осуществилось, и еще в 1855 году, даже за несколько дней до смерти, мы видим поэта усердно пишущим все те же записки. Рукопись (объем ее, по словам Мейснера, видевшего ее уже после смерти автора, но именно только видевшего, а не читавшего, даже не просматривавшего, так что, может быть, тут было много и другого «посмертного», составлял около 600 писаных листов) осталась во владении вдовы. Почему она не приступала к печатанию «Мемуаров», хотя бы с исключением всего того, что касалось родственников (ведь не только о них говорилось, конечно, в записках), для нас неизвестно и непонятно уже потому, что опубликование такого труда доставило бы ей значительную материальную выгоду; но что еще в 1867 году, то есть через одиннадцать лет после смерти поэта, мемуары были в руках Матильды, видно из ее собственного заявления, что в этом году Максимилиан Гейне (врач русской службы), приезжая в Париж, был у нее, читал мемуары и тут же самовольно уничтожил значительную часть их; это же подтверждается свидетельством одного из родственников поэта, что Матильде едва удалось вырвать из рук Максимилиана несколько листов, которые впоследствии были напечатаны. Прёльс делает по этому поводу следующее замечание:

«Подобное насильственное посягательство на ценную собственность женщины, которая заводила уже два процесса из-за литературного наследства своего мужа, и притом еще в чужом государстве, было слишком опасно, чтобы можно было решиться на него. Я скорее убежден, что Максимилиан Гейне получил

большую часть мемуаров только с согласия вдовы, за известное вознаграждение, и что он или действительно уничтожил их, или оставил у себя на сохранение. В пользу последнего предположения говорит то обстоятельство, что в „Воспоминаниях“ Максимилиана, написанных уже после посещения им Матильды, он говорит о „находящихся еще в рукописи мемуарах“. Быть может, эта выдача мемуаров Максимилиану находилась в связи с духовным завещанием умершего в 1865 году Карла Гейне, где был пункт об удвоении пенсии Матильды. Что Максимилиан Гейне предоставил ей для напечатания небольшую часть записок, объясняется, по нашему мнению, тем, что в этой части блестящим образом была опровергнута унизительная характеристика отца поэта, сделанная Штродтманом в его биографии. Матильда же не напечатала и эту часть при своей жизни, потому что уже прежде обязалась Карлу Гейне вообще не печатать ни одной строки мемуаров до тех пор, пока ей аккуратно будет выплачиваться пенсия…»

Только после ее смерти перешедшая в собственность бывшего секретаря Гейне, г-на Юлия, часть мемуаров была продана за 16 000 франков издателю журнала «Gartenlaube», где она скоро после того и появилась. Читатель видит, таким образом, что многое в этой истории остается неразъясненным, между прочим и вопрос – почему, если рукопись мемуаров действительно существует, собственники держат ее взаперти, а не выпускают в свет, с исключением всего того, что может быть так или иначе оскорбительно для их семейной чести?.. Как бы то ни было, но в пользовании публики остается покамест только ничтожная часть этого труда, – ничтожная в количественном и не особенно важная в качественном отношении. Что касается тона, в котором были написаны все уничтоженные теперь или хранящиеся в чьих-нибудь шкафах страницы, то о нем можно судить по тому, что, уже дописывая последние строки, Гейне с жестоким смехом сказал присутствовавшей при этом женщине: «Теперь они (то есть те, о которых шла речь в мемуарах) в моих руках. Мертвыми или живыми – я уже не выпущу их. Берегись всякий, кто будет читать эти строки, если он осмеливался когда-либо нападать на меня! Гейне не умирает, как первый встречный, и когти тигра переживают самого тигра…» Уже одно это говорит очень убедительно против той объективности мемуаров, при которой они только и могли бы сохранить свою полную ценность; и в то же время какой это драгоценный лишний штрих для характеристики Гейне как человека: даже умирающий, он полон чувства мести против «задевавших» лично его и, быть может, пожертвует значительной долею правды, чтобы удовлетворить эту

жажду личного мщения!.. Женщина, о которой мы только что упомянули, была та, которая смогла в этом уже совершенно разрушенном организме, весьма незадолго до его смерти, вызвать страстную, даже – как это ни удивительно – чувственную любовь, ибо только в таком состоянии можно было писать: «Я мертвец, томящийся жаждой по самым огненным наслаждениям, какие доставляет жизнь… это ужасно…» В стихотворениях, вызванных этою последнею страстью, предмет ее обессмертен под именем «Мушка» (La Mouche); имя ее – Камилла Сельден – сделалось известным после издания ею воспоминаний о последних днях жизни поэта. Не останавливаясь здесь на касающихся ее биографических подробностях, заметим только, что она была немецкого происхождения, с самых молодых лет сделалась горячею поклонницею нашего поэта и, приехав в 1855 году в Париж – ей было в то время около тридцати лет, – тотчас же явилась к больному с поручением от одного знакомого из Вены, – явилась в ту пору, когда физические страдания несчастного достигли высшей степени, когда он чувствовал себя очень одиноким и когда он писал: «Я болен, как собака, и борюсь со смертью и болями, как кошка; кошки, к сожалению, живучи…» Мейснер свидетельствует о красоте этой женщины, о соединении в ней самым прелестным образом французского ума и остроумия с немецкой теплотою и задушевностью, и мы не сомневаемся в справедливости этих сведений, потому что нужны были большие физические и умственные достоинства, чтобы в таком положении, в каком находился поэт, вызвать в нем такую сильную привязанность: без своей «Мушки» он не мог теперь прожить ни одного дня, писал ей самые нежные и страстные записки, слагал в ее честь чудесные песни, диктовал ей свои произведения, рассказывал свои воспоминания… А что же Матильда? – спросит читатель. – Матильда, с ее сильною ревностью? Что же! Она видела, что тут ничего не поделаешь, и только уходила из дома, когда прилетала «Мушка»; при том же, вероятно, успокаивало ее чисто женское соображение, что, при всей страстности этого умирающего, отношения его к новой подруге все-таки могли оставаться только платоническими… Заметим однако, что любовь к «Мушке» нисколько не мешала поэту сохранять глубокую нежность относительно своей Матильды; надо упомянуть также, что почти одновременно с этим своим последним увлечением Гейне находил утешение – лишенное, впрочем, уже всякого страстного характера – в сообществе другой женщины, с которой он познакомился лет за двадцать до этого времени, в Булони, когда ей было всего лет двенадцать, и которую поэт тешил тогда сказками и рассказами, выдуманными им собственно для нее. С

тех пор они не виделись; но, приезжая в Париж в последние годы жизни Гейне, она (фамилия ее осталась для нас неизвестною, имя – Люси) поспешила навестить его и была принята самым приветливым образом. В год, предшествовавший смерти Гейне, она снова приехала в Париж, по желанию больного бывала у него почти каждый день, вела с ним беседы о предметах политических, религиозных, литературных – и вместе с тем получала от него шутливые прозвища вроде «высокочтимое великобританское божество» (она была немка и жила в Англии), причем себя называл «верноподданнейшим и преданнейшим обожателем» ее, слышала от него такие слова: «Я теперь примирился со всем миром и перестал наконец роптать на Бога, который посылает мне тебя, как прекрасного ангела смерти; я, без всякого сомнения, скоро умру…» И трудно было ему сомневаться в близком окончании страданий: они делались совершенно невыносимыми, и только его беспримерная сила духа позволяла ему не только стоически относиться к ним и предстоявшей скоро развязке, но и теперь оставаться неисправимым юмористом. «Pouvez vous siffler?» – спрашивает его доктор (т. е. «Можете ли Вы свистеть?») и получает в ответ: «Hélas, non, pas même les pièces de monsieur Scribe» (т. е. «Не могу даже освистывать пьесы Скриба»), так как по-французски siffler значит и свистать, и освистывать. Или он грозит принести обществу покровительства животных жалобу на жестокое обращение с ним неба. Или, за несколько дней до своей смерти, на вопрос посетителя, примирился ли он с небом, отвечает: «Не беспокойтесь, Dieu me pardonnera, c'est son metier…» [4] В первых числах февраля 1856 года с ним начали все чаще и чаще делаться обмороки, судороги, рвота. Но он не переставал работать и еще тринадцатого числа писал шесть часов сряду; на увещания, что такие усиленные занятия очень вредны для него, он, писавший теперь мемуары, отвечал, что для окончания их ему нужно всего еще дня четыре (доказательство, что мемуары были доведены им почти до конца). Шестнадцатого, после обеда, он сказал: «Бумаги и карандаш!» — но то были последние слова его. Карандаш выпал из рук, началась мучительная агония, и 17 февраля, в три четверти четвертого утра, великий поэт и великий страдалец успокоился навеки. «Меня ввели, – рассказывает Камилла Сельден, – в безмолвную комнату, где, подобно статуе в гробнице, лежало тело в торжественной неподвижности смерти. Ничего человеческого в этих холодных останках, ничего напоминающего того, кто любил, ненавидел, страдал: только античная маска, на которую последнее успокоение наложило ледяную печать надменного равнодушия; бледное, точно изваянное из мрамора,

лицо, правильные черты которого напоминали самые чистые произведения греческого искусства. Таким я увидела в последний раз того, чьи черты, так сказать, обожествленные, наводили на мысль о какой-нибудь великолепной аллегории…»

За пять лет до смерти, в завещании, написанном в дополнение к уже известному нам, поэт, торжественно заявляя, что он умирает в вере в единого Бога, Творца мира, которого молит о сострадании к его бессмертной душе, и что по метрическому свидетельству он принадлежит к лютеранской религии, выражал однако волю, чтобы похоронили его без всякой церковной церемонии и без участия духовенства, чтобы не вскрывали его тело и на могиле не произносили никаких речей. Все это было исполнено в точности, точно так же, как и прежнее распоряжение его – похоронить на Монмартрском кладбище. В холодное и сырое утро небольшой кружок друзей, между которыми были Дюма, Теофиль Готье, Поль Сен-Виктор, историк Минье и несколько немецких журналистов, опустил многострадального поэта в могилу, – и несколько времени спустя на средства Матильды был воздвигнут здесь скромный памятник с вырезанными на его плите двумя простыми, но многознаменательными словами: «Henri Heine»…

Заключение

Попытаемся теперь, в самых беглых и крупных чертах, представить общую характеристику Гейне как человека и писателя, хотя, надеемся, она и без того достаточно выяснилась собранными у нас фактами.

Что касается первого, то мы старались показать все как симпатичные, так и непривлекательные стороны в характере и образе действий нашего поэта и смеем думать, что в нашем изложении он явился перед читателем тем, чем был на самом деле: существом, в котором соединялись самые теплые чувства любви, дружбы и преданности – с эгоизмом, мелкой мстительностью и т. п.; высоко духовные стремления – с чисто материальными интересами, даже грубой циничностью; серьезнейшее отношение к вещам – с крайней фривольностью; полнейшая терпимость – с беспощадной насмешливостью. Многие из этих свойств, не могущих вызывать ничего, кроме порицания, были действительно в натуре Гейне; многие он, так сказать, выдумывал у себя, стараясь, как это делал и Байрон, представляться перед людьми наделенным несуществующими пороками; но как бы то ни было, если положить на весы хорошие и дурные качества поэта, то, с нашей точки зрения, чаша первых несомненно перетянет чашу вторых, ибо эти последние, если даже не признавать их напускными, имеют более внешний, преходящий характер, и, во всяком случае, таковы, что не могли повлиять мало-мальски пагубно на то, что было в Гейне симпатичного, прекрасного, светлого. Благородным человеком и гражданином, в *существенном* значении этих слов, остался он непоколебимо до конца своей жизни, и только слепая или предвзятая злоба может клеймить его в этом отношении.

Обращаясь к Гейне как к писателю, мы прежде всего останавливаемся на тесной связи его жизни и натуры с литературной деятельностью, на присутствии в этой последней самой безусловной и неограниченной субъективности. Конечно, она более всего проявляется в чисто поэтических произведениях его, в которых он «переживал то, что пел, и пел то, что переживал и терпел»; но эта же субъективность запечатлела и деятельность его в других областях литературы, во многом обусловив достоинства и недостатки ее. Этими «другими» областями были, как мы видели, публицистика, литературно-научная и отчасти художественная критика. Гейне-публицист, автор статей и писем о современных ему политических делах, является в них со многими свойствами своей натуры – впечатлительностью, часто

переходящею в поразительную изменчивость мнений, фривольным, поверхностным отношением к вещам наряду с серьезным, нередко глубоким проникновением в них. Но как у Гейне-человека хорошее берет перевес над дурным, и первое касается самой сути, а второе проявляется преимущественно в действиях внешнего свойства, точно так же Гейне-публицист, являясь странно, иногда даже чуть не двусмысленно переменчивым в своих *частных* взглядах и убеждениях, то и дело поддаваясь здесь впечатлениям минуты, чисто личному настроению, в *основных* воззрениях своих остается однако глубоко непоколебимым – и это те воззрения, благодаря которым «Молодая Германия» избрала его своим главою и которые давали ему полное основание и право сказать о себе: «Я, право, не знаю, заслужил ли я, чтобы после смерти гроб мой украсили лавровым венком. Но на этот гроб вы должны положить меч, потому что я был храбрый солдат в войне за освобождение человечества…» Сказанное только что о публицистической деятельности Гейне в значительной степени применяется и к его критическим статьям, в которых притом поражает нередко такое глубокое понимание литературных явлений, такое чутье в этом отношении, каких мог бы пожелать себе любой из ученых историков литературы… Но, конечно, не в *этих* сферах деятельности Генриха Гейне центр тяжести ее: для литературы в частности и – скажем смело – для человечества вообще он важен собственно как поэт.

Значение Гейне в поэзии – историко-литературное и эстетическое. Первое заключается в его отношении к романтической школе, под влиянием которой (как мы видели в биографии) он вырос и развился и против которой выступил потом победоносным бойцом, сделав основным элементом своего творчества *человечество,* в полную противоположность романтикам, строившим все – особенно в последние годы – на рыцарстве и монашестве или феодализме и иерархии… Гейне, таким образом, открыл совершенно новую школу в немецкой поэзии, и заслугу его в этом отношении очень хорошо определил известный критик Готшаль. Указав на то, что в тогдашней поэзии «господствовали больше духи, чем дух», критик замечает:

«Гейне же был истинный рыцарь духа – и если он вызывал на свет свои лирические произведения, то не требовал ни от кого никакой серьезной веры в них, ибо то были расплывавшиеся туманные образы… Часто в те минуты, как он давал волю кипевшим в нем чувствам, на пути ему попадались слащавые эпигоны романтизма, портя ему мечтательное выражение его внутренних страданий, и тогда он осмеивал самого себя, современную эпоху и литературу, переходил из чудесно

мелодических аккордов в резкие диссонансы для того, чтобы они не вторили сентиментальной плаксивости тогдашних поэтов. Этими внутренними и внешними причинами оправдывается и объясняется успех гейневской поэзии при самом ее начале: она обозначает собою ступень в самосознании немецкого духа, который мужественно вырывается из пустых сетований любви и существования в мире фантастических грез, издеваясь над тем и другим. Нужен был такой оригинальный и самостоятельный талант, как гейневский, чтобы придавать осмеиваемому ощущению такую увлекательную прелесть, самой насмешке – такую аттическую грацию… Важное историко-литературное значение *этих* песен Гейне не может подлежать сомнению: они обозначают собою уничтожение романтизма, и с ними начинается эра новой немецкой поэзии».

Когда мы обращаемся к поэзии Гейне самой по себе, независимо от ее отношения к современным литературным направлениям, то тут, благодаря именно вышеупомянутой связи жизни и натуры Гейне с его поэзиею, прежде всего останавливает внимание исследователя двойственный характер этой поэзии, действующей на нашу душу самым могущественным, и при этом – самым противоречивым образом. Наряду с глубоким чувством, с чистейшими звуками сердца безмятежно любящего, готового обнимать с безграничной любовью все в природе и человеке – резкий, ядовитый смех со всеми составляющими специальную принадлежность Гейне оттенками «мировой скорби». В стихотворениях первой категории, относящихся, главным образом, к первому периоду его деятельности, в каждом стихе, в каждом слове хранятся те, по выражению критика, «жемчужины лирики, которые в своей чистоте и хрустальной шлифовке составляют вечное украшение поэтического венца Гейне и немецкой национальной литературы». Этот чистый, ничем не омраченный лиризм блещет в песнях, перерабатывающих народные мотивы, – в песнях любви – там, где они не являются, по выражению самого поэта, «ядовитыми песнями», – в картинах природы, особенно моря, наконец в тех стихотворениях, где фантазия поэта выступает в своей удивительной шири и грандиозности. Но ни дух века, в котором жил Гейне, ни внешние обстоятельства этого времени, ни душевный строй нашего поэта не позволяли ему оставаться безвыходно в этой светлой области чистого искусства, и каждый раз, как он входил в жизнь своего собственного сердца и всего того, что окружало его, не мог он, по только что упомянутым причинам, отнестись к этой жизни иначе, как отрицательно. В этом его родство с другими великими поэтами XIX столетия.

В нескольких фазисах выразилась отрицательная и преобладающая сторона поэта Гейне – его внутренняя разорванность. В первом фазисе, соответствующем первому периоду, который заканчивается «Путевыми картинами», всюду на первом плане юмор – элемент в немецкой литературе совершенно новый, по крайней мере в том виде, как применил его Гейне. Этот юмор нашего поэта, по его собственному выражению, – «смеющиеся слезы»; этот юмор – то, «без чего колоссальные скорби и страдания были бы невыносимы»; этот юмор – удивительное проявление проникнутого скорбью комизма. Как нельзя лучше применяется в этом отношении к Гейне то, что он говорит об английском юмористе Стерне, у которого «временами сердце бьется совершенно трагически, и он хочет высказать свои сокровеннейшие, сочащиеся кровью чувства, но тут, к собственному его изумлению, с его губ слетают самые забавные, смеющиеся слова…» Редкое, в самом деле, стихотворение Гейне в этот период и в этом фазисе его деятельности не производит подобного впечатления, – и с этим юмором относится он и к себе, и ко всему окружающему, даже к природе…

Но с течением времени, после разрушения последних надежд поэта, после уничтожения в нем веры в воскрешение когда-либо человечества, поэзия его принимает характер сатирический в самом резком проявлении; вместо молодого идеализма, который, хотя и находился под постоянным контролем острой критики разума, все-таки однако существовал и пробивался в Гейне, выступает «как оставшиеся от этого брожения дрожжи» пессимистический реализм, находя себе полнейшее выражение в знаменитой «Зимней сказке». На эту сатирическую деятельность свою поэт смотрел как на своего рода историческую миссию, и кто прочтет заключительные страницы «Зимней сказки», тот увидит, какое великое значение придавал ее автор карающей силе поэзии вообще… А в предисловии к «Атта Троллю» читаем слова, резко опровергающие существовавшее (и существующее) мнение, что сатира его не щадит и самых святых предметов.

«Ты лжешь, Брут, – восклицает поэт, – ты лжешь, Кассий, лжешь и ты, Азиний, когда утверждаете, что моя насмешка обрушивается на те идеи, которые составляют драгоценное приобретение человечества… Нет, именно потому, что пред поэтом эти идеи постоянно носятся в великолепной ясности, – именно потому им неодолимо овладевает жажда смеха, когда он видит, как грубо, нелепо и дико понимаются эти идеи ограниченными современниками».

В близком родстве с сатирическим характером поэзии Гейне

находится и элемент «мировой скорби», уже в тесном значении этого понятия, – элемент, который, правда, находил себе место и в первых, даже юношеских произведениях его, но достиг полного развития уже в последний период и составил третий фазис в творчестве поэта. И эта мировая скорбь получила у Гейне совершенно самостоятельный, совершенно индивидуальный характер, дойдя наконец до беспредельного, часто цинического отрицания всего, до устранения всех светлых лучей, всех примирительных, успокоительных звуков. Правда, значительную долю играло здесь чисто субъективное чувство, обусловливавшееся страшною болезнью поэта; но, как всегда у Гейне субъективное чувство страдания переходило в общее, так это было и здесь… Источником мировой скорби у нашего поэта не было, однако, отвращение к жизни, пресыщение ею; напротив, тут всем двигала любовь к этой жизни, преданность ей, тут приводило к безотрадным результатам сравнение того, чем могло бы быть наше существование, с тем, что оно есть на самом деле. Эта мировая скорбь являлась не доказательством болезненного душевного настроения; она, напротив, свидетельствует о мировоззрении здоровом, ибо «для больного душный воздух его комнаты есть атмосфера привычная; в ней тяжело дышать только человеку здоровому», – и любовь к жизни, составляющая одно из очень существенных свойств натуры Гейне, действительно является такою же существенною принадлежностью его поэзии – не только в молодые годы, но и после всего, нравственно пережитого им, и среди жесточайших физических мук.

И когда мы говорим о любви этого поэта к жизни, то перед нами естественно является, по тесной связи с этим чувством, преобладающая над всем в стихотворениях Гейне, какого бы они ни были характера, любовь к человечеству. Только при ее существовании могла проходить сквозь все звуки, излетавшие из сердца поэта – звуки и высоко гармонические, и полные резкого диссонанса, – идея человечества, идея гуманности в самом обширном и самом благородном значении этого слова. Во всех указанных нами фазисах поэтического творчества Гейне она, эта идея, остается непоколебимою, и не есть нечто абстрактное, а облечена в плоть и кровь, ни на минуту не отрываясь от действительной жизни и в то же время находя себе высокохудожественное выражение. Те приведенные нами выше слова поэта, в которых он называет себя «храбрым солдатом в войне за освобождение человечества», вполне применяются ко *всей* его поэтической деятельности – и к ним, в заключение этой краткой характеристики, прибавим «Доктрину», которая могла бы послужить эпиграфом ко всем его стихотворениям:

Стучи в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку под стук;
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайших наук.
Буди барабаном уснувших,
Тревогу без устали бей;
Вперед и вперед подвигайся —
В том тайна премудрости всей.
И Гегель, и книжная мудрость —
Все в этой доктрине одной;
Я понял ее, потому что
Я сам барабанщик лихой…

notes

Примечания

1

«Юноша любит девушку» *(нем.)*.

2

Стара история эта,
И все же – всегда нова… *(нем.)*.

3

Считаем не лишним привести здесь кстати мнение Гёте о Гейне, высказанное им в разговорах с Эккерманом, т. е. в позднейшие годы жизни, когда автор «Intermezzo» был уже в расцвете своего таланта: «Нельзя отрицать, что Гейне обладает многими блистательными качествами, но ему недостает любви. Он так же мало любит своих читателей, как своих сопоэтов (Mitpoeten), и больше любит себя; таким образом, к нему можно применить слова апостола: „И если бы я говорил человеческими и ангельскими языками и не имел их любви, то был бы я металлом звенящим…“ Еще на этих днях читал я его стихотворения, и богатое дарование его несомненно, но, повторяю, ему недостает любви, и поэтому он никогда не будет влиять так, как должен бы влиять. Его будут бояться, и он будет богом тех, которые охотно являлись бы такими же отрицателями, как он, но не имеют на то дарования…»

4

Бог меня простит – это его профессия *(фр.)*.